

Часть вторая

Е.Е. Гавриленков
Учиться, учиться и быть
наиболее мобильным

— Вы, Евгений Евгеньевич, известный экономист-аналитик, ваша центральная тема, насколько можно судить по выступлениям и публикациям, — стратегия и проблемы развития России в XXI веке, ее интеграция в мировое сообщество. В этом ключе и хотелось бы построить беседу. Как вы оцениваете перспективы нашего экономического развития на фоне стремительного, глобального, качественного движения мировой экономики. Каковы наши реальные шансы войти в этот мир, если мы действительно ставим такую задачу?

— Когда мы рассуждаем о том, где Россия находится и куда должна идти, важно постараться объективно оценить наше прошлое. У ряда экспертов проявляется некоторая идеологическая зашоренность по поводу этой точки отсчета, а именно о роли Советского Союза, прежней России в мировой экономической системе. Точка зрения на наше прошлое зависит от политических вкусов: многие склонны идеализировать предыдущие десятилетия, много и тех, кто находит в них гораздо больше абсурда, чем здравого смысла. Поэтому и важно понять, почему все-таки то рациональное, что у нас было, не могло развиваться.

Сейчас, конечно, по прошествии почти 12 лет рыночных реформ, страна существенно изменилась — не только в результате нашей внутренней трансформации, но и в силу существенных изменений, которые произошли и продолжают происходить в мире. Я согласен с теми, кто считает, что сейчас переживается критический момент в истории цивилизации, когда происходит переход в некое качественно новое состояние. Действительно, резко ускоряются все экономические процессы, меняется рынок, по-

являются совершенно новые технологии и продукты. Цикл возникновения целых индустрий заметно сократился. И, к сожалению, в этих условиях наши внутренние общественно-политические дискуссии все еще зациклены либо на том, что надо забрать деньги у нефтяников и справедливо поделить, либо на том, что надо снова сосредоточить в руках государства контроль над всеми сырьевыми компаниями; все более активно звучат слова по поводу необходимости государственной промышленной политики, однако пока никто не смог четко сформулировать, какого рода должна быть эта промышленная политика, что именно мы хотим развивать, на что хотим направить средства, получаемые от экспорта энергоресурсов. Думаю, что в наших нынешних условиях, в принципе, эта задача (формулирования промышленной политики) вряд ли может быть решена.

Какие-то элементы промышленной политики можно было осуществлять в 50–60-е годы теперь уже прошлого века. Так поступали Япония, Южная Корея, ряд других стран, где государство оказывало значительную поддержку конкретным бизнес-группам или секторам экономики. Сейчас, в условиях, когда не совсем понятно, куда идет мир, когда очень быстро меняется структура спроса, когда у нас нет полной уверенности, что бюджетные средства или другие формы государственной поддержки могут быть использованы по назначению (о чем нам регулярно напоминают отчеты Счетной палаты), правильнее было бы, на мой взгляд, вкладывать средства преимущественно в образование. Именно высокое качество человеческого капитала способно обеспечивать реальное развитие в условиях динамично меняющейся внешней среды, устойчивый рост экономики, эффективную борьбу с бедностью и решение всех остальных задач, озвученных в последнее время.

Так что если будут появляться какие-то свободные ресурсы у государства, то их лучше направлять именно на образование, причем не обязательно высшее. Имеется в виду как начальное образование, так и система переподготовки, необходимо, чтобы человек постоянно учился. Опыт многих стран, в том числе и наш прошлый опыт, говорит в пользу этого. Не будем брать в качестве примера США, это, конечно, отдельный случай, там образование

всегда являлось своего рода “коньком”, туда приезжает учиться масса иностранцев. Оказание услуг в области образования, если мне не изменяет память, это пятая по объемам статья доходов от экспорта в Америке. Но вот если взять некоторые другие страны, которые смогли качественным образом трансформировать свои экономики и в последние лет десять показали темпы роста выше европейских (например, Дания, Швеция, Финляндия), то нельзя не отметить: лет 15–20 назад они качественно поменяли объемы, структуру финансирования именно в образовании, в науке, создали условия для того, чтобы средства на эти цели шли не только из бюджета и чтобы не только государство, но и компании были заинтересованы в постоянной переподготовке кадров на всех уровнях. В результате и в условиях неопределенности, трудной предсказуемости того, куда движется мир, эти страны смогли найти свои “ниши” в мировом разделении труда и развиваться высокими темпами, причем без использования всяких “природных рент”.

В нашем же случае, конечно, можно сказать, что вот энергетика, например, всегда была и будет, и мы должны оставаться здесь среди лидеров, но тут возникает вопрос: а какая энергетика? Какой она должна быть и будет через 10–20 лет? Где гарантии, что на экспорте нефти можно существовать вечно? Скорее всего, рано или поздно появятся альтернативные источники. То же самое можно сказать в отношении других отраслей. Мировой рынок очень и очень динамичен, и если мы хотим найти какие-то ниши кроме нефти, газа и металлов, то нужны как можно более подготовленные, квалифицированные кадры, которые могли бы их найти. То же касается и внутреннего рынка. Пока наша экономика переживает весьма интенсивную трансформацию, причем в относительно короткий исторический период, пока мы находимся в поиске, нам нужны как можно более мобильные трудовые ресурсы, способные перемещаться от сектора к сектору.

Но самое важное — то, что чем более образованно население, тем больше ему нужно экономической свободы. Именно этого нам не хватало в прошлом. Только сочетание этих двух факторов (знания и свобода их применять)

обеспечивает стабильный экономический рост. В самом деле, если есть в наличии высокообразованные трудовые ресурсы, но нет экономических свобод, если некуда приложить знания и опыт, то наиболее мотивированные кадры начинают уезжать в другие места.

Когда мы говорим об образовании, я имею в виду не только подготовку кадров для конкретных отраслей промышленности, но и в целом сферу управления, менеджмент. Нужны люди, готовые что-то создавать в совершенно разных областях экономики, доводить идеи до создания вполне конкретных компаний, по сути, нужны работодатели. А таких людей в любом обществе от силы 3, 5, ну, 10 процентов. Это означает, что лишь 3-5 процентов в принципе готовы пойти на риск, реализуя какие-то идеи.

Вспомним того же Билла Гейтса, компанию “Microsoft”, возникшую из ничего, без всякой промышленной политики. Появилась удачная идея, и в условиях экономической свободы, когда человек может себя реализовать, — за 20 лет создается не просто одна из крупнейших в мире компаний, но целая отрасль, создаются сотни тысяч рабочих мест. Вот, собственно, что в идеале требуется и нам.

Конечно, можно говорить об элементах промышленной политики там, где у нас были серьезные достижения, например в авиационной отрасли. Но в таких случаях дискуссии все время сводились в основном к тому, что надо увеличить финансирование, защититься от конкуренции и т. п. И только в последнее время начали говорить о необходимости коренной реорганизации отрасли. Ведь прежде чем финансировать, нужно четко определиться: а что мы финансируем? В мире существуют два крупных авиационных производителя — “Боинг” и “Эйрбас”. В последние десять лет появились еще производители региональных самолетов в Бразилии и Канаде. У нас же в одной стране — так исторически сложилось — их было пять или шесть (имена у всех на слуху — Tupolev, Илюшин, Антонов, Сухой, Яковлев, Микоян...). В советское время каждый занимал свою нишу, конкуренции между ними особой не было. Не было конкуренции и с зарубежными производителями. Каждый из них получал требуемые ресурсы. Однако сейчас ситуация естественным образом изменилась, в первую очередь из-за открытия экономи-

ки. Оказалось, что, как и в случае с автомобильной отраслью, мы испытываем конкуренцию уже со стороны более сильных западных производителей техники. И качество нашей продукции не столь очевидно, поскольку даже высокие импортные пошлины не способны поменять предпочтения отечественных авиаперевозчиков, которые все больше и больше предпочитают зарубежную технику, в том числе поддержанную. Ресурсы же наши расплывены по нескольким компаниям. Более разумным представлялось бы создание действительно мощного холдинга, который сосредоточил бы в себе все интеллектуальные ресурсы отрасли. Производство самолетов эффективно, если в год компания может производить и продавать их около сотни. У нас в лучшем случае — два-три на каждую фирму, и прибыльными они быть не могут, однако их продолжают субсидировать. Продолжается распыление и финансовых, и интеллектуальных ресурсов, что ничего хорошего не приносит и не сулит. Все попытки создать, например, региональный самолет оказались безрезультатными; сначала поддерживали один проект, Ту-334, который разрабатывали около 20 лет, и он успел уже устареть морально; потом переключились на другой, “Сухого” с “боингом”. Нужные решения по созданию холдинга появятся только года через два. Но это лишь один, весьма конкретный и специфический сегмент современного рынка.

— *Сколько, на ваш взгляд, еще должно пройти лет, чтобы дойти до таких вещей? Ведь разговоры (и научные дебаты) о той же структурной перестройке шли еще в 80-е годы.*

— Но ничего не происходит. Вернее, что-то произошло, но в очень малой мере. У президента и нынешней администрации, я думаю, есть примерно два года, за которые что-то нужно сделать.

— *У нас имеются необходимые и уже готовые для этого интеллектуальные ресурсы?*

— Думаю, если мы говорим об открытой экономике, то интеллектуальные ресурсы есть. Не обязательно у нас, но и

где-то еще. Интеллект, как и любой ресурс, можно купить. Что-то имеется у нас самих, что-то, скажем, на пространствах бывшего СССР, в других странах. Частные компании, например, нанимают западных менеджеров, ключевых людей на некоторые ключевые позиции — но, конечно, не всю команду. В фирме, где я работаю, тоже так. Это нормальный процесс, частный сектор давно понял: чтобы изготовить, разработать то, что продается, нужно купить какие-то ресурсы, в том числе и интеллектуальные. Возьмите любые более-менее успешно конкурирующие на нашем рынке компании — везде работает много иностранных специалистов (в пищевой промышленности, в нефтяной отрасли, в финансовой сфере, например). Государственный сектор в этом смысле закрыт, и, до тех пор пока не придет такое вот осознание, ничего там не будет происходить, потому что, конечно, мы развивались замкнуто, у нас “своя школа”. Кстати, уже сейчас на приватизированных предприятиях того же авиационного сегмента начали создавать новые двигатели совместно с французами. Но опять-таки на приватизированных. То есть процесс идет, но вот там, где присутствует государство, пока не перешагнули эту черту. На самом деле вся наша история свидетельствует о том, что значительные шаги вперед Россия делала только тогда, когда она открывалась, когда сюда приезжал зарубежный народ — голландцы, французы, немцы. Кто-то становился российскими гражданами. Они не деньги привозили, а в общем-то другую культуру, в том числе и деловую. Подобным образом развивается и Америка, где гораздо проще и дешевле начать бизнес по сравнению с той же Европой. Потому туда со всего мира едет народ наиболее предприимчивый, готовый пойти на риск. Потому число компаний, которые каждый год там появляются (в расчете, скажем, на тысячу человек), в пять-шесть раз выше, чем, скажем, в Германии. Но столько же компаний и умирает в Америке, то есть более интенсивно идет процесс селекции наиболее эффективного бизнеса. Вот почему мы видим, что принципиальные новшества, которые меняют мир, тот же “Microsoft”, например, те же биотехнологии — оттуда. Можно обратиться и к совершенно другим примерам, с других континентов. Та же Япония, которая была закрыта

до середины позапрошлого века, — это был один мир; как только открылась — стала совершенно другой. И я полагаю, что в грядущем, если мы думаем о будущем России, должен быть вновь освоен такой именно путь.

— Ну, пока получается наоборот.

— И это, мне кажется, принципиальная ошибка. Наше новое миграционное законодательство — очень неправильное направление.

— Но если, скажем, мы начнем принимать все больше иностранных специалистов, а свои будут интенсивно осваивать Силиконовую долину (если уже не освоили полностью) — несколько странная складывается ситуация, согласитесь...

— Думаю, в этом нет ничего ни странного, ни страшного. Они же приедут обратно, эти люди. Просто так сложилось, что в определенный период мы произвели огромное количество физиков, математиков, программистов, которые были ориентированы на работу (еще в советское время) в комплексах ВПК. В 1990-е годы все поменялось, спрос сократился. Куда им идти — газеты продавать? Лучше пусть они едут туда, где могут продолжать работать по специальности. По крайней мере, сохраняется интеллектуальный потенциал, приобретается опыт. Если создаются нормальные условия здесь или, например, ухудшается положение в Калифорнии — кто-то возвращается. Главное — обеспечить вот эту свободу выбора.

— У вас есть какой-то оптимизм при том, что на мировом рынке высокотехнологичной продукции доля России, как признали недавно и наши академики, “оскорбительно мала” — менее одного процента. Именно за счет развития наукоемких технологий, как известно, в других странах достигается до 70–80 процентов прироста ВВП. Мы сейчас постоянно слышим о необходимости удвоить наш ВВП, притом быстро. Как это может получиться?

— Оптимизм некий есть, потому что мы начали расти (правда, только в последние лет пять). Причем темпы роста были высокими, можно, конечно, спорить о качестве статистических данных, но не в том суть. Мы, в принципе, можем расти гораздо более быстрыми темпами. И на данном этапе нашего развития этот рост, конечно, исключительно важен. Мы уже почувствовали его вкус.

— *Рост чего?*

— Пока качество роста экономики невысокое, безусловно, но это тоже вполне объяснимо. Это вполне естественно после длительного периода спада. Когда произошла девальвация и повысился спрос именно на российские товары, то в первую очередь откликнулись предприятия, которые были готовы удовлетворить спрос обедневшего населения. То есть начали быстро производиться дешевые продукты, которые мы всегда в общем-то умели производить. Если в качестве примера взять пищевую отрасль, то сразу после кризиса стало быстро расти производство хлеба, сахара, растительного масла. В этих отраслях еще оставались свободные, незадействованные мощности. Ну а дальше мы наблюдали тоже достаточно интересную картину. На фоне высоких цен на нефть в последние годы, в результате того, что доходы от внешней торговли так или иначе перераспределялись по экономике в целом, доходы населения также росли довольно быстро. И структура спроса начала меняться. Скажем, уже в 2001 году население стало предъявлять повышенный спрос на более дорогие белковые продукты, при одновременном сокращении спроса на углеводы. Но вот уже 2003 год нам показал, что пищевая промышленность тормозится, и значительно повысился спрос на товары длительного пользования, на услуги. Кроме того, стало понятно: тот механизм роста, который во многом был основан на загрузке мощностей, готовых производить дешевую продукцию, как бы исчерпан. Население уже хочет чего-то другого. Те, кто может купить, скажем, “фольксваген”, ни при каких условиях не будут покупать несколько “жигули”. Для того чтобы другое, конкурентоспособное производство появилось, нуж-

ны инвестиции. И вот здесь действительно тех десятых долей процента, о которых вы говорите, мало.

Сейчас ситуация начала меняться — медленно, вопреки многим обстоятельствам и мнениям. Однако на новую структуру спроса уже откликаются потребительские отрасли. Крупные компании, ориентированные на экспорт продукции обрабатывающей промышленности, также стремятся выпускать более качественную продукцию, поскольку обостряется конкуренция в мире. Но они сталкиваются с растущими издержками в виде повышающегося реального курса рубля, в виде растущих транспортных и энергетических тарифов, тоже удорожающих продукцию. Встает задача повышения эффективности производства. Чтобы снизить издержки в традиционных отраслях, все более активно заговорили о качестве корпоративного управления, о том, что нужно реструктурировать предприятия. Мы видим, что в прошлом году в промышленности, где производство выросло на 7 процентов, на 6 процентов сократилась занятость. Это означает, что пошли интенсивные процессы внутренней реструктуризации, которые раньше и не начинались, поскольку просто не было такой необходимости (можно было, повторю, загрузить существовавшие мощности). В течение года-двух это произошло везде. Просто приходит понимание, что обостряется конкуренция на всех рынках, и чтобы быть конкурентоспособным, нужно смотреть, а правильно ли организован процесс. Когда и эти элементы будут исчерпаны, вот тогда наступит следующий этап — возникнет спрос на более эффективные новые технологии. Тогда уже это станет единственной возможностью повышения конкурентоспособности.

— *Нам, следовательно, ясно, что именно делать, или это все-таки происходит спонтанно?*

— Думаю, большей частью спонтанно, но это вполне естественная реакция частного сектора на меняющиеся условия. Рост, который мы имели, пока не слишком диверсифицированный, в какой-то мере традиционный, во многом финансировался благодаря выросшим доходам tradi-

ционных отраслей-экспортеров (нефть, металлы и т. п.), но это естественная реакция экономики на благоприятные изменения на мировых рынках. В результате весьма эффективно перестроился за этот исторически короткий срок частный сектор. Interactive Research Group провела интересное исследование рынка потребительских товаров и услуг. Анализировались различные компании, и обнаружилось, что фактически в каждом сегменте потребительского рынка (текстиль, одежда, обувь, напитки, продукты, услуги) есть как минимум 8–10 компаний, которые успешно конкурируют с крупнейшими зарубежными производителями по всем параметрам. Они настроены на рост. Бизнес в каждом своем сегменте не отвечает за всю экономику, но он по крайней мере делает более осмысленные шаги в своей области. Растет спрос на информационные бизнес-технологии, что тоже позволяет снизить издержки. Сократить внутренний документооборот, например. Частный сектор по определению более адаптивен, и это касается также кадровой политики. Я работал в разных структурах, государственных и частных и могу судить о качестве персонала. Даже обычные водители в частных компаниях более профессиональны, чем в госсекторе.

— *За счет зарплат?*

— За счет зарплаты идет естественный отбор. Я просто говорю, что частный сектор оказался гораздо более мобильным, чего и следовало ожидать.

— *Тем не менее не скажешь о благосклонном отношении к нему и населения, и власти. Особенно в последнее время.*

— Эти разговоры я бы пока не рассматривал как долгосрочные тенденции. На данном этапе нашего развития многое непонятно, с точки зрения рационального мышления порой трудно найти внятное объяснение происходящему. В частности, это касается событий второй половины прошлого года. Во многом надо делать поправку на предвыборную атмосферу. В тех условиях определенные

силы получили возможность громко заявить о своих представлениях о жизни и предпринять соответствующие шаги. Сейчас же мы наблюдаем весьма интересный период, своего рода тест для власти, когда есть все возможности способствовать развитию экономики в том или ином направлении: будет ли это курс на усиление присутствия государства в экономике или это будет курс на продолжение структурных реформ и либерализацию. Именно в этом смысле для президента станут весьма показательны первые два года, а от государства мы вообще-то получили достаточно смешанные сигналы — как позитивные, так и негативные. Сам факт, что в течение ряда лет поддерживался профицитный бюджет (хотя это легко было сделать на фоне высоких цен на нефть), свидетельствует о том, что правительство не поддавалось соблазну увеличения госрасходов, бессмысленного в таком нереструктурированном хозяйстве. В совокупности с разумной денежно-кредитной политикой это способствовало поддержанию макроэкономической стабильности. В то же время явное замедление структурных реформ создавало весьма негативный фон для инвесторов.

Теоретически можно рассматривать такой вариант развития, который предполагает увеличение доли ресурсов, перераспределяемых государством. Однако не в России и тем более не сейчас. Прежде чем увеличивать расходы, всегда нужны сначала организационные решения. Важно понять, повторю, куда мы собираемся вкладывать государственные средства. Пока, я думаю, конкретных решений не принято, хотя количество чиновников-экономистов у нас сейчас увеличивается завидными темпами, несмотря на все разговоры об административной реформе.

Вот мы опять вынужденно возвращаемся к проблеме образования. С началом реформ резко увеличилось количество молодых людей, которых потянуло в экономику и юриспруденцию. Появилось множество новых вузов (не исключено, что в недалеком будущем окажется, что мы производим слишком много экономистов и юристов). Но старые-то у нас не закрылись. И, наверное, хорошо, что не закрылись, поскольку теперь, в условиях растущей экономики, должен снова повыситься спрос на специалистов

инженерно-технического профиля. Например, есть даже признаки того, что магазины в качестве продавцов-консультантов стремятся привлечь людей с высшим образованием, которые хоть как-то разбираются в технике (хотя, возможно, это и не лучший способ использования кадрового потенциала). Я говорю это к тому, что серьезно системой образования, особенно в сфере естественно-научных дисциплин, никто толком не занимался. Пока не было такой потребности. Думаю, что сейчас эта проблема начнет возникать, поскольку меняется структура экономики, структура спроса на тех или иных специалистов.

— *На тех, кто определяет экономическую политику, или, скорее, на тех, кто занимается разработкой новых технологий, их внедрением? Эти два русла у нас как-то разделяются или их просто нет?*

— Пока нет. Еще ничего не произошло. Более того, скорее происходят какие-то негативные изменения. Например, из статистики видно, что занятость в сфере образования в предыдущие годы росла. Я не уверен, что это хорошо, поскольку нет свидетельств в пользу того, что аналогичным образом повышалось и качество образования. И здесь мне видится тесная связь с нашей армейской реформой, точнее, с ее отсутствием. Именно то, что долгое время она практически не осуществляется, порождает спрос на низкокачественное образование, вообще на любое. Возникает огромное количество странных вузов, негосударственных академий, университетов, что-то там преподается. Увеличивается количество аспирантур и аспирантов... Но вряд ли во все вузы могли прийти высококачественные преподавательские кадры. Просто учеба становится неким способом дотянуть до 27–28 лет, до уже непризывного возраста, как-то перекаптоваться — и это явно неэффективное использование человеческих ресурсов. Однако для многих это лучше, чем потеря двух лет жизни в армии. Это в общем-то лучше и для экономики, поскольку, формально числясь в студентах или аспирантах, люди продолжают работать, создавать и “удваивать ВВП”, чего армия делать не может. Потому, я думаю, помимо экономических свобод, реформ в самом образова-

нии в широком смысле, необходима еще и реальная военная реформа. До тех пор пока у нас армия будет существовать в том виде, в каком существует сейчас, она будет постоянно стимулировать спрос на низкокачественное образование либо отток наиболее активной, скажем так, интеллектуально активной части населения куда-то за рубеж во избежание нынешнего армейского кошмара. Нужна нормальная и эффективная профессиональная армия.

— *Скажите, Евгений Евгеньевич, а кто-то у нас сейчас занимается экономической теорией, перспективными разработками?*

— Комплексно, серьезно, с расчетом на долгий срок, думаю, нет. Есть, конечно, исследования в области долгосрочной энергетической стратегии, стратегии развития транспорта, но это размышления на тему отдельных секторов экономики. Единственная программа, заглянувшая на десять лет вперед, была разработана в свое время коллективом под руководством Грефа.

— *Ее назвали “стратегической” программой. Она как стратегическая и работает?*

— Да, она реализуется, но надо понимать, что все же она была рассчитана на десять лет. Большое достижение этой программы заключается хотя бы в том, что все программы предыдущих правительств ориентировались, как правило, на трехлетние периоды, а тут впервые задумались о десятилетнем горизонте. Однако в стратегическом, перспективном плане и это не так много. Если мы хотим получить отдачу от реформ в образовании, то нужно начинать с детского сада, с начальных классов школы, и при этом надо понимать, что отдача будет видна по крайней мере лет через 20–25. Насколько я знаю, над очередной перспективной программой трудилась группа Шувалова при Центре стратегических разработок, но опять-таки там, по моему пониманию, речь шла об относительно коротких сроках и ограниченном спектре реформ.

— *Недавно по новостным каналам довели до нас из сферы власти такие слова (возможно, не в лучшей интерпретации): не нужны нам никакие идеи, нам нужно заниматься конкретными делами. Что бы это значило?*

— Ну, конкретными делами, конечно, надо заниматься... Но я остаюсь при убеждении: надо давать возможность людям учиться тому, чему они хотят, и предоставлять экономическую свободу. В этом смысле, мне кажется, показателен литературный пример Робинзона Крузо: человек, имея накопленные знания, оказался в условиях полной экономической свободы; именно поэтому он мог «удваивать ВВП» своего острова. При помощи знаний он мог и обороняться от нашествия каннибалов с соседних островов. Конечно, это грубое упрощение, но и некая модель. Если бы там, на одном острове оказались еще два-три Робинзона, один из которых был бы начальником, собирающим налоги в натуральной форме как на свое пропитание, так и для другого Робинзона, олицетворяющего армию и полицию, то об экономическом росте острова можно было бы забыть. Я надеюсь, что рано или поздно мы все-таки всерьез задумаемся о таких вещах.

— *А у нас есть время? Мы констатируем: мир убыстряется, конкуренция возрастает. И привычно повторяем: нас держит на плаву цена на нефть... Ну а не будь этой цены? Что у нас есть?*

— На самом деле пока ничего особого нет, в том-то и беда. Я вначале заметил, что темпы роста экономики могли бы быть и более высокими, но для этого нужно было бы решить проблемы, связанные с экономической свободой. Вот мы говорим: пусть к нам приходит иностранный капитал. Он не приходит по известным причинам: отсутствие более-менее вменяемой бюрократии, постоянно меняющиеся правила игры, коррупция (и все это помимо технических проблем, связанных с неразвитой инфраструктурой). Конечно, какие-то регионы могут быть более продвинутыми в данном отношении. Но основная причина — совершенно другой деловой менталитет, не у отдельных

личностей, а у нации в целом. 1917 год и последовавший геноцид не прошли даром. Кроме того, на протяжении многих десятилетий мы были страной, которая вывозила капитал. Считается, что в 90-е годы началось бегство капитала, наступил такой нехороший для нас период. Но надо отдавать себе отчет, что это же явление существовало и раньше. В советское время было абсолютно то же самое, вывозили те же самые миллиарды, десятки миллиардов долларов, правда по другим каналам, по другим причинам (поддержка коммунистических режимов во всем мире, строительство военных объектов во Вьетнаме, в ГДР, в Венгрии, других странах). Так что с точки зрения макроэкономики покупка футбольного клуба Абрамовичем по сути то же самое, что и финансирование некоего военного режима в Африке в прошлые десятилетия. Кроме того, деньги Абрамовича или другого бизнесмена, в принципе, могут вернуться в страну, если им здесь может быть найдено лучшее по сравнению с Англией применение. Если отдача от их вложений в российскую экономику будет выше, а риски ниже (я не обсуждаю здесь модный сейчас, но небесспорный тезис о социальной ответственности бизнеса). Долги же диктаторских режимов мы не получим никогда. Поэтому если Россия, наконец, станет реципиентом капитала, тогда и темпы роста могут быть совершенно другими даже и при более низких ценах на нефть. Появится другое качество роста.

— *Естественный вопрос: нам что, сидеть и ждать? Устроить интеллектуальный накопитель, размещать там всех, кто потихонечку образовывается, и просчитывать, когда же изменится менталитет? Или все-таки можно сделать некий рывок, хорошо бы по нескольким направлениям?*

— Должен отметить, что и наша экономика начинает развиваться в разных направлениях, причем это в первую очередь происходит в силу естественной эволюции бизнеса, а не по воле государства. Вот, скажем, есть некая компания, вполне реальная, работающая в сфере информационных технологий. Она ничего не приватизировала, начи-

налась с нуля, но сейчас спрос на программные продукты, информационные технологии, которые здесь производят, достиг такого уровня, что компания решила начать строить собственный город, или поселок. Компания работает на экспорт и на внутренний рынок, спрос на ее продукты явно превышает предложение. Можно запросто пригласить специалистов из СНГ, из той же Силиконовой долины, предложив им нормальные условия труда и жизни. Могут сказать, что у нас уже есть подобные научные города, и как правило, они сейчас бедствуют. Но то как бы государственные города, и государство не всегда ведет себя адекватно. С одной стороны, в бюджете вроде бы нет средств, а с другой — многие такие города были закрытыми, так что экономической свободы не дано. А в частном бизнесе люди все просчитали, в том числе сколько стоит содержать офис в Москве и сколько — в ее окрестностях. Разумное, сугубо бизнес-решение.

— *Это выход, по вашему мнению?*

— Это просто пример. Бизнес хочет развиваться. И если это сложно в данном конкретном регионе, он будет перемещаться в другие места. Но если здесь поставить искусственные ограничения, то он просто не будет расти. Главное — чтобы государство ему не мешало, а лучше — способствовало бы. Я вот говорил достаточно настойчиво о промышленной политике, но при том не исключая полностью, что государство могло бы взять под опеку определенные отрасли.

— *Оно и берет: военно-промышленный комплекс.*

— В этом-то и беда: государству ближе отрасли, где наиболее сильное лобби. И прежде чем взять их под опеку, начать финансировать, нужна та самая серьезная административная реформа, государство должно улучшиться, иначе все деньги по пути разворуются, разойдутся. Но главное — не это является нашим будущим. Это опять работа на сиюминутную выгоду. О каких-то более-менее долгосрочных проектах я впервые услышал на конферен-

ции нефтяников, которые года три-четыре назад стали говорить о перспективах до 2030 года, причем с количественными расчетами. От государственных структур чаще слышишь другое: экспорт вооружения на три года такой-то... Ну, не может страна, которая имеет 144 миллиона (довольно все-таки большое население), сосредоточиваться только на этом — на экспорте нефти и вооружений. Та же Швеция, где население примерно такое же, как, скажем, в Москве, производит и качественные автомобили, и те же самолеты, и высокого класса потребительские товары. Понятно, что страна с населением в 140 миллионов может гораздо больше. Ну, сколько у нас составляет экспорт военной техники? В лучшем случае сейчас 5, ну, будет 7 миллиардов. Емкость рынка вооружений ограничена. Нельзя завалить весь мир вооружением. И на этом рынке конкуренция сильна. Даже если мы гипотетически будем экспортировать вооружения не на 5, а на 10–15 миллиардов долларов, то это принципиально не изменит картину в нашей экономике. Нужно производить и гражданскую продукцию. То есть мировой рынок вооружения исчерпаем, сколько там — 20, 30, 40 миллиардов... А общий объем нашего экспорта в этом году ожидается в размере свыше 160 миллиардов долларов. Потому, естественно, экспорт должен диверсифицироваться, надо стараться экспортировать все что можно, в любых объемах. Те же программные продукты. Я не так много, но все же езжу по стране. Недавно был на Алтае, в других регионах, и видно, как что-то прорастает. Есть масса некрупных предприятий, готовых предложить вполне конкурентоспособные товары. И государство могло бы помочь им выйти на внешний рынок, хотя бы помочь установить контакты с зарубежными партнерами. Взять ту же пищевую промышленность, которая раньше и более других отраслей испытала на себе, что такое конкуренция, в том числе и с импортом. Сейчас она гораздо более конкурентоспособна, чем лет пять-шесть назад. В этой отрасли проблемы с собственностью урегулированы в гораздо большей степени, чем, скажем, в нефтяной, структура собственности как-то устоялась. И в условиях сокращения населения, долгосрочного снижения спроса на продукты питания единст-

венный способ развития для пищевой промышленности — это начать экспортировать, повышая качество своих товаров, эффективность производства, что, собственно говоря, и происходит.

— *А какой бизнес сейчас для России важнее — малый, средний, крупный?*

— Думаю, не очень корректно ставить вопрос именно так. Просто говорят сейчас о малом бизнесе больше, потому что доля его крайне мала. Пока нет надежных данных о доле малого бизнеса в ВВП (по крайней мере, Госкомстат официально их не публикует), но по нашим оценкам она составляет порядка 7–8 процентов, в то время как в Соединенных Штатах малый бизнес производит около 60 процентов ВВП, во многих европейских странах эта цифра даже выше. Развитие малого бизнеса важно не только потому, что это способ трудоустройства для существенной части населения, но и потому, что это площадка, позволяющая проявиться наиболее эффективному бизнесу, который затем из малого может вырасти в более крупный.

— *Вот мы все время говорим: государство и... То есть мы предполагаем прочную, долговую связь государства и экономики или все-таки ожидаем, что оно немногу начнет из экономики уходить?*

— Государство, на мой взгляд, должно уходить из экономики. Но сейчас я говорю о другом: государство — некий слуга, а наиболее профессионален тот слуга, которого не замечают. Когда вы, например, сидите в кафе и официант слишком навязчив — это плохой официант; а вот если на вашем столе все появляется незаметно и именно в той очередности, как хотелось бы, — это то, что нужно. Собственно говоря, таким и должно быть государство. В этом смысле к нашему государству пока большие претензии. Оно слишком назойливо, на разных уровнях его слишком много. Оно не может не только создать комфортные условия, но и обеспечить элементарную безопасность людей и бизнеса. Такие структуры, как милиция, на мой

взгляд, вообще не реформируемы, их по сути надо создавать заново. Думаю, то же самое можно сказать и об армии: это в принципе не реформируемая структура. И вообще, все наши силовые структуры создавались совершенно в другой стране, другой системе, для решения совершенно других задач.

— *А кто сегодня выдвигает перспективную цель, ту же задачу удвоения ВВП? И кто ее реализует? Не происходит ли здесь обмен ролями?*

— Наличие ясной и понятной цели — это очень важно. Если взять, например, восточноевропейские страны, их переходный период, то перед ними была четкая стратегическая цель — вступить в Евросоюз. Эта цель, поставленная правительствами, была широко поддержана населением. Для них было важно убежать от зависимости от России и вступить в цивилизованное сообщество, стать частью большого, хорошо структурированного мира. И вот на протяжении 14 лет они кропотливо выстраивали соответствующие системы институтов, рыночные и государственные, принимали законы, подобные тем, которые есть в Европе и будут у них. Прошло 14 лет, и они вступили в Евросоюз. У нас все совершенно по-другому. С начала реформ никакой долгосрочной цели не было сформулировано, речь в лучшем случае шла о пресловутой макроэкономической стабилизации и о переходе к экономическому росту. Четких политико-экономических ориентиров, равно как и внешнеполитических, тоже не было. Да и сейчас пока нет. Потому задача удвоения ВВП на этом фоне выглядит весьма разумной целью — это хоть что-то. Кроме того, у нас еще есть и другая проблема: политика, в том числе и экономическая, слишком персонифицирована. Политика, проводимая одним нашим лидером, не обязательно будет продолжена другим. И это коренное отличие от той же Восточной Европы, той же Польши, например: в 1990-е годы там, по сути, произошла смена власти. Но Квасьневский, бывший коммунист, став социалистом, начал играть абсолютно по тем же правилам, что и его предшественник, следовать тому же самому курсу на интеграцию с Евросоюзом, который был принят в 90-м

году. Мы же по-прежнему не можем сделать фундаментальный выбор: либо по-прежнему у нас доминирует пресловутая вертикаль власти, все персонифицировано и зависит от одного человека; либо строится гражданское общество, возникают независимые саморегулирующиеся институты. В принципе возможны и тот и другой варианты развития и достаточно высоких темпов роста. Многие страны Азии развивались именно по первому варианту, там тоже властители ставили похожие задачи достижения высоких темпов роста на 20–30–50 лет вперед. Есть плюсы и минусы в такой стратегии: с одной стороны, высокие темпы роста достижимы, но чего-то не хватает, свободы выбора, например, поскольку ключевые решения не только в политике, но и в экономической сфере принимаются очень ограниченным кругом людей. В таких условиях наиболее активная часть населения может покидать страну, тем самым ограничивая ее потенциал развития в более долгосрочном плане. Есть и другая модель, действительно свободные институты, свобода выбора, гражданское общество — такая система более устойчива. Мы пока не пришли к пониманию того, что без нормального гражданского общества, куда входят и независимые средства массовой информации (зеркало такого общества, что позволяет контролировать бюрократию), риски возникновения нестабильности, подавления творческих инициатив гораздо выше.

Китай, скажем, еще один пример развития без гражданского общества. Это незыблемость власти, где компартия не собирается уходить со сцены, по крайней мере в ближайшее время. Однако это не означает, что так там будет всегда. В Китае поставили задачу перегнать Америку по объему ВВП и скоро реализуют ее, в том числе с помощью иностранных инвесторов. Это тоже вполне реальная цель, но вопрос — сможет ли богатеющее китайское население всегда обходиться без свободы в политической сфере. Централизованное управление — явление, характерное для стран с невысоким доходом на душу населения. Мы тоже столкнемся с этим противоречием. Много противоречий в политике можно видеть и сейчас: в общем-то власть ратует за либеральную экономику (на словах по крайней мере); вместе с тем все больше говорится об уси-

лении роли государства, в том числе и в экономической сфере. В целом же я не очень понимаю, как либеральная экономика может развиваться в условиях достаточно авторитарной власти в долгосрочной перспективе.

Можно посмотреть на проблему и с другой стороны. Территория у нас самая большая в мире, однако, численность населения явно не самая большая, к тому же она сокращается. Особенно это видно на примере отдельных регионов, откуда народ уезжает по разным причинам. Если здесь не создать комфортные условия для бизнеса, то в долгосрочной перспективе наше государство может исчезнуть как таковое. В условиях авторитарного режима страна могла существовать, когда росла демографически, даже несмотря на геноцид собственного народа. При сокращающемся населении это будет уже гораздо сложнее. Проблема усугубляется тем, что мы на протяжении десятилетий не прекращали воевать — достаточно вспомнить Афганистан, Чечню... А это десятки тысяч человеческих жизней. Так что контроль над всеми своими территориями будет осуществлять все сложнее и сложнее... Эта проблема, понятно, не на сегодня-завтра, но заглянем вперед на те же самые 20–25 лет. В первую очередь для нас важно интегрироваться с цивилизованным миром, то есть перестать строить из себя что-то особенное. Надо на деле открыться, стать страной более свободной, чем соседние страны, создав достаточно простые, привлекательные условия для того, чтобы сюда приезжали люди и учиться, и работать. Тогда и новые технологии придут, и идеи появятся. Я думаю, для России это наиболее разумный способ развития.

— *А могут сейчас появляться новые идеи?*

— Думаю, что пока нет. Очень разные силы доминируют в верхах власти. Есть достаточно консервативные, скажем так, которые стремятся огородить нашу страну от внешнего мира и таможенными тарифами, и усложненными визовыми процедурами, и миграционным законодательством. А есть мыслящие по-другому. Но главная-то беда в том, что и общество в целом не хочет никакой открытости и интеграции. Если посмотреть результаты различных оп-

росов, то лишь 7–8 процентов готовы расширять контакты с Западом, а где-то порядка 60 с лишним процентов за то, чтобы президент вернул России статус сверхдержавы.

— *Два процента за то, чтобы развивать гражданское общество, демократические институты. Два процента — 18-е, предпоследнее место во всем списке вопросов одного из недавних исследований.*

— Понятно, что за год-два до выборов политики будут отвечать на вот эти потребности населения. Если у Путина хватит решимости за два года (пока политики могут не столь прямо реагировать на подобные настроения) повести страну в другом направлении, тогда ему надо ставить памятник. Если нет...

— *Вот видите, вы осознаете, Евгений Евгеньевич, что ближайшие два-три года практически страну не изменят. Чем вы сами считаете полезным заниматься в это время?*

— Я считаю и всегда считал, что нужно продолжать, не смотря на возраст, постоянно что-то узнавать, учиться, учиться и быть наиболее мобильным, не столько географически, сколько в интеллектуальном плане.

— *Зачем?*

— Чтобы, когда изменятся условия, быть готовым принять это как данность. Если я не могу изменить среду, значит, я должен измениться сам; если я не могу остановить дождь, я должен раскрыть зонтик.

— *И в каком качестве вы себя видите прежде всего?*

— Ну, думаю, прежде всего в качестве аналитика. Если на мои услуги будет спрос. Мне это интересно. Я довольно долгое время работал в Бюро экономического анализа, участвовал в работе различных групп по формулированию экономической политики. И сегодня меня просят иногда

что-то написать, высказать свои соображения по конкретным вопросам. В общем, постараюсь оставаться активным.

— *А вы что окончили?*

— Базовое образование — авиационный институт, факультет прикладной математики. После чего занялся экономикой, математическим моделированием всяческих экономических процессов. А сейчас работаю во вполне конкретном секторе, финансовом. Клиенты нашей компании, отечественные и зарубежные, — это те люди, которые принимают решения об инвестициях в Россию, о покупке или продаже предприятий, вложении средств в ценные бумаги...

— *Но вы еще и преподаете в Высшей школе экономики, авторитетном вузе, построенном на иных, чем другие институты, началах, куда охотно идет интеллектуальная элита. Кого вы готовите, на чем концентрируете внимание, оправдывают ли ваши надежды выпускники?*

— У меня, надо сказать, смешанное впечатление о Высшей школе экономики. С одной стороны, мы готовим достаточно хорошие кадры, но Школа настолько разрослась и продолжает разрастаться, что возникает вопрос об общей эффективности системы. Таким организмом управлять все сложнее и сложнее, и где пределы такого развития, я пока не понимаю. Требуется все больше и больше квалифицированных преподавателей, причем единомышленников. Возможно, я просто перестал понимать, как Школа функционирует. Характерны длительные совещания, чего нет в частном секторе, где время дороже. Но это и не удивительно, поскольку людей много и все они разные, согласование и выработка принципиальных решений занимает гораздо больше времени. Тем не менее считаю Школу одним из лучших наших вузов, если не лучшим, поэтому и позволяю себе высказываться критически. Когда Школа только замышлялась (это 92-93-е годы), было намерение на государственные деньги создать государст-

венный университет, который готовил бы квалифицированные кадры на уровне мировых стандартов, почему с самого начала и было очень тесное сотрудничество с Голландией, Францией. Были программы сотрудничества с Евросоюзом и правительством Франции. Специальные деньги выделялись на оплату тех профессоров, которые приезжали сюда и просто ставили курс. И мой опыт показывает, что наиболее квалифицированные специалисты выходили из Школы на ранних этапах. Сейчас они тоже, конечно, есть, но, скажем так, их удельный вес снизился, поскольку прием существенно увеличился. Еще важно то, что раньше на старших курсах было много тех, кто просто учился, сегодня же очень много тех, кто где-то уже работает. Меньше ходят на лекции. Я не хочу сказать, что это однозначно плохо. Работая, люди тоже получают какие-то знания и набираются трудового опыта. Но это уже другое знание. Я как раз больше работал с ранними выпусками. Тогда, на начальном этапе, всегда приходило больше людей именно в магистратуру, с хорошим, как правило, математическим и физическим образованием, окончивших физтех, мехмат МГУ. Сейчас в магистратуре — выпускники бакалавриата Школы; их базовая математическая подготовка не всегда выше, но они, естественно, гораздо лучше образованы экономически.

— *А вы не замечаете и каких-то поколенческих различий?*

— Среди студентов? Они меняются, да. Первые были более целеустремленными не с точки зрения зарабатывания денег в текущий момент, а с точки зрения более долгосрочных академических интересов. Я и сейчас чаще общаюсь с выпускниками середины 90-х годов, с некоторыми даже работал и продолжаю работать. Совсем недавно у меня был очень талантливый студент, один из лучших, легко поступил в аспирантуру, но одновременно нашел работу в каком-то рекламном агентстве или журнале и талантливо пишет о путешествиях. Его посылают в командировки, он описывает свои впечатления. И одновременно он аспирант. Это другой стиль жизни, не менее интересный и

достойный, но понятно, что тут уже не до серьезных занятий. Возможно, это связано с тем, что прежде экономика падала, а сейчас растет, легче заработать в каких-то совершенно других структурах. Ну и остается причина, к которой не могу не вернуться еще раз. Думаю, для многих выпускников аспирантура важна, чтобы решить проблемы с военкоматом. Еще одно доказательство того, что армейская реформа нужна не только с точки зрения повышения эффективности армии и повышения обороноспособности. Она необходима в первую очередь с сугубо экономической точки зрения.

— *Новое поколение, как правило, уходит в бизнес. А кто-то остается непосредственно в науке?*

— Очень мало. Практически не остаются. В академической науке совсем мало молодых кадров.

— *Впечатление такое, что есть один экономист-теоретик — Глазьев, который “требует ренты”... Но ведь возникла масса всяких исследовательских центров и фондов, работает ваша Школа. Существуют и тот же экономический факультет МГУ, академический Институт экономики, те же бесконечные отраслевые институты — они ведь никуда не исчезли. Что-то там делается?*

— Там те же самые люди, которые были 10-15-20 лет назад. Кто-то более продвинулся, кто-то просто “досиживает”. Но новое, молодое поколение туда не идет.

— *А что вообще происходит с экономической наукой?*

— Думаю, что она интернационализируется. Многие из тех людей, которые имеют хорошее образование и готовы производить что-то интересное с академической точки зрения или давать интересную аналитику, заняты либо в крупных западных компаниях, как раз аналитических, либо работают в международных организациях (во Всемир-

ном банке, МВФ), либо едут работать в какие-то западные университеты. А у нас такой академической науки пока нет. Состояние Академии наук — это очень сложный вопрос. Она как была неким дополнительным министерством с неким финансированием, так и остается. Не перестроилась, к сожалению. Возможно ли это? Не уверен. Дело в том, что молодое поколение пока не видит здесь перспектив. Скажем, для многих наличие своих публикаций в ведущих мировых журналах значит сегодня гораздо больше, чем звание профессора или доцента.

Создатели Высшей школы экономики рассчитывали на то, что удастся соединить воедино науку и образование. Мне кажется, что пока эту идею реализовать не удалось. Академическая наука — занятие весьма индивидуальное, не все могут заниматься ею. Кроме того, в наше время наука, экономическая в частности, в реальности ориентирована на зарабатывание денег, на решение весьма и весьма прикладных задач, которые, как правило, далеки от фундаментальных проблем. Нынешняя экономическая наука — скорее консалтинг каких-то госструктур, которые выделяют деньги на эти цели. На фундаментальные исследования денег, как правило, выделяется меньше. Надо признать: если у кого-то и получается заниматься у нас действительно наукой, то только если удастся получить независимые источники финансирования. Как правило, с Запада, так как система финансирования фундаментальных исследований из отечественных источников, по сути, отсутствует. По крайней мере выделяемых средств явно недостаточно. И это в еще большей мере касается естественнонаучных дисциплин.

Но все-таки я бы сказал, что есть некий пул серьезных экономистов, которые так или иначе общаются, собираясь на всякие совещания, конференции. Он, правда, очень небольшой. И это не есть какая-то система. Это, скажем так, некое неформальное сообщество. Многие люди, имеющие склонность к научной работе, ушли во власть, в бизнес и, стало быть, ею уже не занимаются. Для академических исследований, повторю, нужна другая система финансирования.

— Это в далеком-далеком будущем?

— Думаю, что да. Если мы говорим о системе, то она сложится в далеком будущем. В индивидуальном плане что-то уже происходит, как происходило и раньше. Иногда люди сами находят источники, гранты, например. Но надо понимать, что если “мозги” не будут востребованы здесь, значит они окажутся в других точках земного шара. Я уверен, что деньги у нашего государства есть, только оно направляет их на другие цели. В последнее время отчетливо прослеживалась тенденция роста расходов на различные силовые структуры, практически никак не реформированные, в то время как расходы на развитие науки по-прежнему на крайне низком уровне. Надо быть неизлечимым, хроническим оптимистом, чтобы при этом с уверенностью смотреть в будущее.

С. А. Васильев В поиске новой экономической теории государства

— Для начала — традиционный наш вопрос, Сергей Александрович: согласны ли вы с теми, кто считает, что мы переживаем некий особый, переломный момент в истории цивилизации? Означает ли это, в частности, по вашему мнению как экономиста, что индустриальное общество изжило себя и переходит в какое-то качественно иное состояние? Как вы охарактеризовали бы важные, с вашей точки зрения, тенденции мирового развития?

— Не могу сказать, действительно ли это критический момент, переломный, но что совершенно ясно, так это то, что возникает информационное общество. Резко увеличиваются возможности коммуникации, и расстояния, которые раньше играли существенную роль в том, как развивалась цивилизация, сейчас эту роль в значительной мере утрачивают. Пространство и время, если рассматривать явления в более широком плане, смотрятся, по крайней мере с точки зрения экономических и культурных связей, иначе, чем прежде. Они уже не могут препятствовать общению людей во всех его формах — в той же степени, что прежде. Отсюда — глобализация.

О глобализации говорят, что она способствует унификации культуры. Но это с одной стороны, а с другой — она создает новые возможности для относительно мелких культур, для небольших наций: они становятся активными игроками в мировом информационном пространстве. Местные особенности вовсе не подавляются, напротив, мир быстрее узнает, как развивается каждая страна, и осваивает самое ценное из ее опыта, вовлекает в общий оборот. Ну, например, такой проект, как World music, был совершенно невозможен еще 30 лет назад. И кто бы узнал, ска-

жем, о Сезарии Эворе? Численно маленький народ, двести тысяч человек, а у него оказалась богатейшая музыкальная культура, о которой долго никто и не имел бы представления. Глобализация способствует ей в том именно смысле, что она становится элементом мировой культуры и успешно, уже не изолированно развивается. Другая сторона вопроса: а почему становится? Потому, что оказалась конкурентоспособной.

Конкурентоспособность сейчас — один из ключевых факторов успеха в глобальном масштабе. Это касается любой сферы деятельности. Об экономике и говорить не приходится. Вот в этом новизна момента — в новых информационных возможностях и коммуникационных тоже, а вместе с тем в возросшем значении готовности страны, любого предприятия, даже человека конкурировать на мировом поприще.

— А Россия встраивается в процесс таких перемен?

— Россия потенциально хорошо может быть встроена, потому что для нее фактор расстояний всегда был очень важен. Большая, малонаселенная страна... Культура ее сложилась под влиянием этого огромного пространства, в котором не было коммуникаций. В свое время строительство железных дорог оказалось для нас важным прорывом. Ведь пока их не было, “работали” только реки. Но реки текут в основном меридионально, а железные дороги прокладываются широтно. Они позволили совершенно изменить жизнь России. Теперь Интернет так же меняет способ существования нации, и меняет радикально.

Вместе с тем развитие международных контактов в процессе глобализации стимулировало рост культурного, образовательного уровня наших граждан и создало для этого новые возможности. Готовность образованного слоя страны вкладывать большие деньги в изучение детьми иностранных языков, то, например, что теперь считается нормальным изучение двух языков, — это, конечно, очень значимый момент адаптации России к новым условиям на глобальном уровне. Не сомневаюсь, что у нашей страны блестящие перспективы с точки зрения ее места в миро-

вом сообществе. Видел, кстати, прогнозы американцев: Россия не то что догонит, скажем, Португалию... Уровень ее развития через 50 лет будет сравним с западноевропейским. Помешать осуществлению такого прогноза можем только мы сами. Как всегда.

— *Готовы ли в самом деле наши люди к включенности в мировое информационное общество, к успешному участию в глобальной конкуренции, о которой вы говорите? Особенно те самые поколения, которые сейчас определяют социальное развитие, успех во всех сферах деятельности? К какому, кстати, поколению относите себя вы? Какие события склонны считать определяющими для себя?*

— Для нашего поколения, думаю, важны две даты, рубежные: это 1968 и 1979 годы. В 1968-м мне, правда, исполнилось только десять лет, но то, что наши давят чехов за “социализм с человеческим лицом”, было уже очень понятно. Может быть, потому, что семья у нас была достаточно “продвинутой”. Семья в общем-то обычная, но один дядя был ярый диссидент, который читал весь самиздат. А дед мой был ученый человек, но довольно правозащитный коммунист, и они, когда встречались, всегда спорили. Ну, и понятно, что я присутствовал при этом. В 79-м, когда ввели войска в Афганистан, мы поняли, что наш разрыв с режимом окончательный, что уже нет возможностей для компромиссов. Тогда я как раз окончил финансово-экономический институт.

Конечно, наше поколение очень трудно определить, но мы в прямом смысле — дети XX съезда, не в идейном, как “шестидесятники”, а в том, что родились в конце 50-х годов и росли уже в иной атмосфере, чем люди предшествовавших поколений. Время моего детства — время хрущевской “оттепели”, когда страх сталинских времен уже отпустил страну. Нашему поколению этот страх передавался разве что генами, поэтому я считаю, что мы — очень свободное поколение.

В то же время — и это уже наше преимущество в сравнении со следующим поколением — мы таки хлебнули

“совка” в полной мере. Идущие за нами, даже те, кто окончил институт через пять лет после меня, пришли на работу, когда уже была перестройка. Почему, скажем, более молодое поколение довольно “розовое”? Потому, что они не пощупали той прежней, советской жизни, оттого у них и разные иллюзии... Думаю, наше поколение — последнее, которое эмоционально воспринимает различие прошлой и нынешней жизни. Наша сила как раз в том, что мы хорошо знаем, от какой системы отталкиваемся, уходим. Молодое поколение лучше образованно, многие хорошо знают западную теорию, современное состояние науки. Им повезло больше, у нас в России, скажем, просто не было нормальной экономической науки. Но в них, на мой взгляд, слишком много академизма, и они пока, даже лучшие специалисты, слабоваты в применении высокой теории к российской практике. Я считаю, что по-настоящему хорошие экономисты проявились только в нашем поколении.

Реально конфликт поколений состоял еще вот в чем: “шестидесятники” ждали, что их пригласят во власть, считали, что это естественно, поскольку они подготовили перестройку. А этого не произошло, власть досталась следующему поколению. Если говорить с точки зрения карьер, то должности, которые мы заняли в 30 лет, прежде доставались тем, кому было не меньше 50. То есть скачок произошел реально на одно поколение. Поэтому я считаю, что нам и в этом смысле повезло, а хорошо это или плохо — ну, жизнь покажет.

— *Но есть ли у вашего поколения и у вас лично представления о будущем страны, желаемом или даже, если хотите, идеальном? И возможно ли, по вашему мнению, содействовать реализации этих представлений, то есть как-то корректировать социальное развитие? Или вы согласны, скажем, с Фридрихом фон Хайеком, что все это — “пагубная самонадеянность”?*

— Я начну с конца этого вопроса. Сознательная коррекция социальных процессов практически невозможна, на мой взгляд, потому что нет субъекта коррекции. Кто может быть субъектом? Общество само себя не может корректи-

ровать. Оно, конечно, развивается в результате взаимодействия разных общественных сил, но это стихийный процесс, а не сознательная коррекция. Можно сказать, что этим управляют элиты. Но ведь они — часть общества. Возможно, сознательная коррекция, с точки зрения элиты, заключается в том, что она своим поведением может задавать некоторые более высокие стандарты социального поведения (чего, к сожалению, у нас не делается). Как, например, элита в Британии, где она образовалась давно и у нее сложились традиции и нормы поведения. Джентльмен, скажем, согласно этим традициям и нормам, чего-то не должен делать (вспомните Мэри Поппинс: “джентльмены таких вопросов не задают”). Вот “низкий человек” может себе нечто позволить, а джентльмен не имеет права. Таким способом эта элита осуществляет коррекцию общественного развития. Довольно удачно, между прочим, как мы видим по Англии, трем последним сотням лет ее истории. Только собственным примером, ничем другим, потому что все остальное просто самообман. Или обман. В любом обществе это так. Как только некто начинает думать, что можно существенно корректировать экономическое и социальное развитие, тем более начинает действовать в соответствии с этим убеждением, случаются большие беды.

— *Вы считаете, что все идет самотеком?*

— А как иначе? Вот попытались большевики поломать естественный ход истории — национальная катастрофа получилась. Конечно, большевики сами результат развития России. Тут трудно определить, где эффект субъективных решений и где объективная закономерность, потому как ясно: сила большевиков была в том, что реформа 1861 года оказалась половинчатой, и, более того, в том, что в России сложилось крепостное право, и тоже по объективным причинам. Нигде в Западной Европе не было крепостного права в том виде, в каком оно существовало в России. Но это долгий разговор. Все равно речь должна идти об ответственности социальных групп, партий. Глубоко убежден: попытки насильно что-то менять кончаются большой бедой.

— *Реформа 1861 года стала большой бедой?*

— Понимаете, когда реформа проводилась, уже все осознали, что не делать этого нельзя. Назрело и перезрело. Абсолютно все понимали. Были варианты, как ее проводить, и то, что она была половинчатой, оказалось для России самым большим несчастьем, ошибкой, сказавшейся на всем будущем развитии. В чем недоделанность реформы? В том, что община не была разрушена, то есть не появилось мобильности в крестьянской среде, сохранились пережитки крепостничества. Реальный капитализм на селе начал развиваться только после столыпинских реформ.

— *И все-таки: хорошо ли, что страна не определила свои перспективы? Куда идем? Чего хотим? Сейчас многие говорят, что нет ясности на сей счет, нет долгосрочной стратегии развития. Под этим порой подразумевается отсутствие идеала, “национальной идеи”. Но пусть проще: какой станет страна этак через полсотни лет?*

— Давайте размежуем две вещи: идеал и стратегию. По поводу идеала — сложный вопрос. У каждого он свой. А у общества? Но об этом чуть позже. Вот если говорить о правящих структурах, то я так скажу: для успешного развития страны необходим некий консенсус элит относительно желаемых целей. И у нас он, может быть, не оформлен как стратегия, но он есть. Это касается, скорее, тактики, признанных необходимыми реформ. Проблема же в том, что горизонт расчетов очень близкий. Причина понятна: элита-то молодая в России, фактически новая. Все менялось очень быстро. Элита еще не успела построить долгосрочные приоритеты. А отсюда — и правительство их не имеет. То есть если бы у элит они возникли, то транслировались бы в правительство.

Если говорить об экономике, то, скажем, у Гайдара есть некоторые представления о том, как страну развивать, поднимать на мировой уровень, и у Глазьева есть. Они — люди действительно думающие, заглядывающие далеко, хотя не однонаправленно. Но ни представления Гайдара,

ни представления Глазьева в элите не прижились. Она не то чтобы не согласна, а не доросла, скажем так, до этого уровня мышления. Элита даже в таких временных категориях, как 50 или даже 20 лет, не мыслит. По времени своего существования она не могла определиться в долгосрочных проблемах. Это очень естественно в пору столь крутых перемен, которые мы пережили, в пору крушения идеалов, утраты основных ориентиров, точек отсчета, а вместе с тем пору острых дискуссий и достаточно жесткой политической борьбы. Такая обстановка не благоприятствовала спокойному осмыслению будущего.

Конечно, в академической среде некие идеи дальнего действия обсуждаются. Ну, например, проблема энергетической стратегии для России.

Все-таки энергетика — основа ее благосостояния, сейчас и надолго вперед, учитывая, что Россия имеет газовую монополию на европейском рынке. Она может и ей придется определять реально внутреннюю цену газа. Внешняя определена мировым рынком, хотя и с нашим важным участием, а тут цена может колебаться от себестоимости до цены европейского рынка. Это выбор политический. Но если мы ее загоняем высоко, эту цену на газ, то получаем внутри страны большую природную ренту; если же цена низкая, значит, рента тоже существует, но она как бы распределена между потребителями газа. Когда газ дешевый, в стране развиваются энергоемкие производства. Она производит удобрения, много алюминия, который требует больших затрат электроэнергии. И как только мы повышаем цену, скажем, в 2 раза, мы разницу между себестоимостью и ценой, во-первых, направляем в бюджет, то есть можем решать социальные проблемы, а с другой стороны — у нас растет цена энергоресурсов и, следовательно, становится невыгодно производить удобрения, а выгодно, например, машиностроительную продукцию или что-то новое, умное, чипы скажем. Политика цен на газ — тот реальный рычаг, который есть у правительства, у общества для того, чтобы сделать выбор и определить, как будет развиваться страна.

А это еще и выбор знаете между чем и чем? Между доходами нынешнего поколения и будущего, потому что ес-

ли цена на газ низкая, мы его качаем очень много и продаем. Если цену поднимем, станет выгодно добывать уголь, допустим. А газ как более ценное сырье сбережем для будущих поколений. Газ может как в хранилище лежать и ждать какого-то момента, когда ситуация станет сложнее. Это фундаментальный социальный факт.

Ну а про социальный идеал... Вообще хорошо, когда у человека он есть. Но я не совсем представляю, что такое сегодня идеал общества в целом. Думаю, реальное развитие определяется взаимодействием социальных идеалов разных людей. Меня очень забавляет, когда общество требует от ученых: скажите, куда мы идем? А от ученых-академиков странно слышать, что России не подходит демократия или рыночная экономика. Это вопрос опять же конкурентоспособности, ведь все страны, которые добиваются успеха, достигают этого с помощью демократии и рыночной конкуренции. Диктатура — путь в тупик. Это вопрос даже не политического выбора, а просто выживания страны, потому что современные страны — это сложные общества. В таком обществе должна быть обратная связь. Она может осуществляться только через демократические системы. Если общество лишается обратной связи, оно идет вразнос. С рынком — то же самое. Если нет рынка, то экономика не получает сигналов “снизу” (о потребностях, приоритетах потребителей) и в конечном счете стагнирует.

— *А мусульманские страны? Там напряженно с демократией.*

— А в мусульманских странах все в полном застое и не ходит. Нет ни одной мусульманской страны, может быть, кроме Малайзии, которая быстро развивалась бы. Даже Саудовская Аравия, где много нефти, в очень тяжелом экономическом положении. Иран? Он радикально отличается от арабских стран в силу иного этнического состава и традиций; это страна с огромным будущим, самая демократическая, кстати, из мусульманских стран, там есть реальные элементы свободы (выборы президента, независимая пресса). Иран — страна с огромным потенциа-

лом. И для России это очень важно, потому что это ее стратегический, геополитический партнер. В принципе, если Ирану удастся освободиться от чрезмерного религиозного влияния на общество, страна сможет стать действительно демократической.

— *Коль мы заговорили о демократии, то согласитесь ли вы с утверждением социологов, что в нашей стране реальная практика основательно дискредитировала саму идею этого общественного устройства?*

— Не думаю, что демократия так уж скомпрометирована. Может, конечно, она не такая, как нам хотелось бы. Но выборы, как минимум, главный институт демократии, у нас неплохо работают. Хотя есть некоторые сигналы неблагоприятности, прежде всего снижение явки избирателей. На самом деле это неизбежно. Как только предпринимаются попытки сделать из обычной демократии управляемую демократию, надо быть готовым к таким вот неприятным вещам. А когда был реальный выбор, вы помните, сколько людей приходило на участки. Ругают демократов нехорошими словами? Понимаете, слова разные могут быть, а практика реально народом акцептована. Попробуйте отменить выборы, скажем, губернатора. То есть их можно отменить, но долгосрочные результаты будут очень болезненными. Прежде всего потому, что сейчас за отключение горячей воды отвечает избранный народом губернатор, а если его будет назначать президент, то и ответственность ляжет на президента.

— *У вас по должности круг интересов широкий, в чем мы убеждаемся и по ходу беседы. Но все же, не могли бы вы представить свою любимую исследовательскую тему? И почему она любимая?*

— Для меня такая тема — экономические теории государства. Сейчас экономическая теория, политэкономия переживает возрождение. Новая, настоящая политэкономия — не по Марксу, а теория институтов, социальных групп, их интересов. Еще в 60-70-е годы, когда Соединен-

ные Штаты переходили от кейнсианской к неоклассической модели государственного регулирования, возникла, вернее, начала формироваться теория общественного выбора, в разработке которой принимали участие такие экономисты, как М. Олсон, Дж. Бьюкенен, Д. Норт. Работы Джеймса Бьюкенена, лауреата Нобелевской премии по экономике 1986 года, позволили исследователям проблем общественного выбора систематизировать накопленные знания, а самого автора книги “Границы свободы. Между анархией и Левиафаном”, недавно опубликованной и на русском языке, считать основателем этой теории.

Фундаментальным понятием “новой политической экономики”, как ее часто называют, является “поиск ренты”. Это новый для нас термин, поэтому поясню его смысл, тем более что у нас в последнее время ломали копыя вокруг природной ренты, она у всех на слуху, но ведь рента бывает разная. Понимаете, тут нет подходящих русских терминов. Rent-seeking behavior — это поведение, ориентированное на поиск ренты, но как бы в противовес получению прибыли. Есть в экономической системе нормальная деятельность, ориентированная на получение прибыли; а деятельность на получение ренты — это, грубо говоря, попытка нечто урвать, даже уворовать; в широком смысле — у предприятия, у общества. Прибыль — значит что-то построить, произвести и с этого получить доход, заработать. А “рентоискательство” — понятие в ряду “коррупция”, “взятка”, “подкуп”.

Есть известный жаргонный термин — “откат”: ты, скажем, будучи мэром, для городского водопровода закупил негодные, бракованные трубы, а их продавец, жулик, вернул тебе за это часть их стоимости, выплаченной тобой из средств местного или государственного бюджета. Нечто подобное может сделать менеджер частного предприятия, используя деньги акционеров. Или извлечь выгоду из монопольного положения предприятия, которое искусственно создается кем-то за определенную мзду. И вот получается, что в развивающихся странах очень велика доля поведения, ориентированного не на то, чтобы приумножить общественное богатство, а на то, чтобы его перераспределить в свою пользу, “откусить” нечто от чужого пирога.

Это типично и для России. Но главное-то в том, что вся государственная система строится на принципах извлечения такой ренты. Понятие “откат” становится господствующим во всех отношениях — и в государственных структурах, и вне их. Высокий уровень коррупции, вообще высокие издержки организации экономической деятельности — то, от чего экономика задыхается. Как изменить эту ситуацию, когда государство, по существу, само себя реформирует? По какой логике необходимо бороться с таким поиском ренты, с “рентоориентированным” поведением? Если это система, то и найти надо системные способы ее преодоления. Вот это фундаментальная тема, которая мне кажется интересной в исследовательском смысле и очень важной.

Что можно сделать уже теперь? Первое: минимизировать вмешательство государства в экономические отношения. Если на любом государственном рычаге можно паразитировать, то если этого рычага нет, паразитировать уже не на чем. То есть надо перевести все на рыночные отношения. Второе: с точки зрения технологии работы это должны быть очень простые, легко администрируемые процедуры. Может быть, приведу не лучший пример, но представляется весьма эффективным переход к конкурсной процедуре государственных закупок. Десять лет назад все министерства покупали у кого хотели. И, естественно, присутствовал тот самый “откат”. Как только появляется конкурс — если он только открыто проводится, — воровать становится уже сложнее. Вообще прозрачность принятия решений на государственном уровне, с одной стороны, и прозрачность бизнеса, с другой, — тоже очень важный фактор в борьбе с рентой, с коррупцией. Необходимо создание таких процедур, когда было бы сложно принимать произвольные решения, влияющие на экономические пропорции.

Это не традиционное “усиление контроля”. Под маской контроля тоже может скрываться коррупция, на контроле тоже порой имеют хорошую ренту. Речь идет именно о прозрачности процедур, о том, что на Западе называют “стеклянными карманами”.

Государственное вмешательство, регулирование часто

все же необходимо, вопрос — в каких формах и в какой мере. Важно помнить, что это вещь опасная, требующая взвешенности и тонкого обращения с инструментами управления. Вот наглядный пример: ввели тарифные квоты на мясо. Кажется, для защиты собственных производителей. Но если хорошо разобраться... Что такое тарифная квота? До определенного уровня мясо ввозится с низкой пошлиной, а после определенного рубежа — с высокой. Все, что ввозится с низкой пошлиной, имеет сверхприбыль, потому что внутри страны мясо продается по единой цене — рыночной. Эта сверхприбыль всегда оказывается в карманах конкретных компаний-импортеров и чиновников, которые выделяют им квоты. Потом там происходит следующее: допустим, мы торгуемся с американцами и даем им большую квоту на их мясо, а бразильцам — низкую, между тем у американцев мясо генно-модифицированное, а у бразильцев — чистое, нормальное. Значит, мы действуем в ущерб интересам своих людей, а кто-то получает с этого ренту.

Защита отечественных производителей часто оборачивается своей противоположностью — угроблением защищаемой отрасли. Скажем, вводим высокие пошлины на подержанные машины. Кажется, какая благородная мера — сразу расширится рынок для нашего автопрома. Но, во-первых, мы защищаем его уже десять лет, и чем дальше, тем больше наше автомобильное производство отстает. Это правило международной торговли, если хотите — экономический закон: отрасль, которая больше всего защищается государством, быстрее всего загнивает. Потому что, если отрасль защищена от внешнего рынка, то у нее нет стимула повышать качество. Если бы мы не защищали наш рынок машин, то уже производили бы хорошие автомобили, Тольятти выпускал бы какие-нибудь “опели” или “фиаты”. Стопроцентно. Вот пивной рынок не защищали, да? И пиво конкурентоспособно.

Скажете: развитые страны применяют такую защиту. Но они богатые, могут себе это позволить. А цель-то у них чаще всего не экономическая, а социальная и политическая. Буш, например, выступил за высокие ввозные пошлины на сталь ради того, чтобы не снизились доходы занятых в данной от-

расли и чтобы они за него голосовали. Экономически же это неоправданная мера, она консервирует дороговизну производства стали в США. А мы бедная страна, мы не можем себе позволить защищать, скажем, наше сельское хозяйство, что в принципе и не нужно, как выяснилось. Оно без всякой защиты развивается. Если бы еще раньше разобрались с земельными отношениями, имели бы уже огромный рост.

— *На внешнем рынке нам, однако, не очень дают разгуляться.*

— Это другой вопрос — вопрос дипломатии, роли государства. Но я вам скажу, опять же опыт подсказывает, что односторонняя либерализация торговли всегда приносит выгоды. Так, нашу сталь не пускают на европейский рынок, а мы завоевали Юго-Восточную Азию. Другое дело, что на мировом рынке жесткие отношения, и для этого нужна поддержка политического ведомства. С тех пор как американский экономист Эдвард Люттвак ввел в обращение понятие “геоэкономика”, стало ясно, что в международной конкуренции роль важнейших действующих лиц играют государства, национальные хозяйственные комплексы в целом. Но в принципе, с точки зрения максимизации темпов экономического роста, чем меньше государство вмешивается в хозяйственные дела и международную торговлю, тем лучше. Пример — Чили. Это была абсолютно зависимая от экспорта меди страна. Пиночет либерализовал экономику и внешнюю торговлю. И кто бы мог подумать: у них сейчас 70 процентов экспорта составляет сельское хозяйство. Никто не мог бы представить себе такое развитие событий, потому что к 1973 году сельское хозяйство было в глубочайшем кризисе. Провели аграрную реформу, дали землю крестьянам, и выяснилось, что страна может с выгодой производить фрукты и овощи. Сейчас Чили — крупнейший экспортер зимнего винограда, а еще вина, искусственно выращенной красной рыбы... И никто никакими льготами сельское хозяйство не поддерживал.

— *Скажите, а вот с нашим вообще уровнем, качеством и технологиями мы все-таки можем влиться в ми-*

ровую экономику? Когда-то выдвигалась идея создания лучшего в мире автомобиля...

— Недавно я с Алферовым общался: есть огромный проект по производству (совместно с немцами) микрочипов в Петербурге на основе собственных технологий. Вот это серьезно, а законодателями мод в автостроении мы едва ли станем, нет пока к тому никаких предпосылок. В принципе возможности прорыва существуют. Самое бессмысленное — гадать, что будет производить страна, скажем, через 20–30 лет. Я не верю в идею, что можно сейчас выбрать отрасли, которые нам кажутся самыми перспективными, и их развивать. Мы скорее всего ошибемся и потратим деньги на то, что потом не понадобится, зароем их в землю.

— *Но мы постоянно слышим о необходимости инвестиций...*

— Частное инвестирование — да. Когда в России кто-нибудь всерьез размышляет о государственных инвестициях, я просто поражаюсь, потому что разворачивается все, любые госинвестиции превращаются в чью-то кормушку.

— *В таком случае как вы определили бы роль государства в экономике? Об этом столько споров. И вот та дискуссия — догонять, не догонять...*

— Установление правил игры и контроль за их соблюдением — вот дело государства. Только это. Чтобы суды работали не так, как сейчас. Но мне кажется, наше государство исторически не привыкло к тому, чтобы существовало еще что-то, независимое от него. В стране последние 500 лет оно было всеобъемлющим. Левиафан. Попытка построить нормальное государство, сбалансированное, знающее свое место, пока не удалась. И проблема — не только в управленцах, не только в менталитете чиновников. Она сложнее: народ наш к этому привык. Он полагается главным образом на государство, во властные органы избирает прежде всего государственных, все еще верит,

что благо ему может принести только крутой вождь — то ли монарх, то ли диктатор, — который “железной рукой” наведет порядок. Нет, в самом деле “история ничему не учит народы”.

А догонять — не догонять... Об этом даже смешно говорить. Как можно не догонять, если уровень жизни в стране такой низкий. Мы должны расти быстрее, чем наши соседи, чем Европа. Правда, мы и сейчас быстрее растем.

Ну а если говорить о дискуссиях, то, на мой взгляд, среди экономистов нет сейчас серьезных теоретических расхождений. По большому счету. Они возникают главным образом в периоды политической борьбы — перед выборами. Никто уже не спорит, что экономика может быть только рыночной, сочетающей разные формы собственности с преобладанием частного сектора. Ясно, что и некоторые ее регуляторы должны действовать. Вот о пропорциях в этом сочетании — рынка и регулирования экономики, о способах воздействия на нее дискуссии возникают, однако, чаще по конкретным поводам, и оптимальный вариант отыскивается. Мы все уже освоили теорию и опыт макроэкономики, знаем ее историю и уроки. Существует согласие и в том, что экономика и социальная политика неразрывно связаны, что определенное перераспределение средств в социальных целях необходимо и неизбежно, но вот баланс тут должен быть аккуратным, чтобы защита слабых не превратилась во всеобщее перераспределение и уравниловку. Благодаря тому что в правительстве оказалось много профессиональных экономистов, контакты между ним и академическими экономистами очень тесные.

Экономическая теория, как я уже говорил, переживает подъем. Но проблема в том, что новое направление политической экономии очень еще молодое. Не сформировалась даже единая терминология. Просто есть несколько очень сильных специалистов, работающих в данной сфере. Эта школа оказала сильное влияние на наших экономистов. Если говорить о 80-х годах, то работа Гайдара, допустим, по иерархическим структурам была в рамках этой школы. Для нас многое в новых экономических воззрениях интересно потому, что они возникли из сравнения раз-

ных систем. Старая классическая теория и неоклассическая воспринимают западную систему как единственно возможную. А все остальное, все, что не подходит (в смысле — практика под теорию не подходит), игнорируется по принципу “тем хуже для практики”. А вот эта теория, “новая политическая экономия”, как раз опирается на анализ истории разных систем. И капитализма, и восточных систем, скажем, феодальных, и переходных экономик в том числе.

У нас много говорят об “особом пути” России. Но ведь у любой страны в некотором смысле — особый путь, связанный с ее природными условиями, историческими традициями, тем же экономическим положением в данный момент. Что же касается основных принципов развития экономики, то тут ничего не найдешь особого, кроме того, что в общем-то универсальная рыночная модель накладывается на реальные условия. Американцы после Второй мировой войны привезли свою модель в Германию и Японию, и она там прививалась, реализовывалась в соответствии с конкретной национальной почвой. И неплохо получилось.

Однако если вести разговор в несколько ином ракурсе, то в принципе, по убеждениям, я националист. В том смысле, что считаю: современное гражданское общество может существовать только на национальном поле, ни в какой другой форме оно невозможно. Как, впрочем, и государство. В моем представлении гражданское общество и государство — просто две ипостаси существования нации. Никакого наднационального гражданского общества быть не может, как и наднационального государства.

Что это значит на практике? Если, скажем, создается Европейский союз и всем в нем заправляет Комиссия в Брюсселе, то эта структура, в принципе, никому не подотчетна и безответственна. Любое правительство имеет тенденцию выходить из-под общественного контроля, но на уровне национальных государств этой тенденции противостоят институты гражданского общества. Как только мы переходим к какому-то наднациональному образованию, механизма контроля нет. И бюрократы начинают диктовать свою волю сообществу наций. Потому я противник

такой интеграции, которая отрывает управление экономикой, а тем более всей жизнью общества от национальной почвы и национального контроля. Возможны где-то в будущем единое европейское государство, европейская нация, но в будущем очень отдаленном. Европейский союз, как он складывается сейчас, не имеет перспективы в качестве союза наций. Все проблемы пока должны решаться на уровне национального государства. Это моя точка зрения.

— Юрий Левада считает, что при всем развитии мировых наднациональных связей, при всех различиях внутри национальных сообществ, национальная общность остается доминирующей «осью координат» человеческого самоопределения. И объединенная Европа остается «Европой отечеств», как ее еще Шарль де Голль называл. А Ральф Дарендорф пишет как об острой проблеме о том, что основные, важные для судеб народов решения принимаются на уровне наднациональном, их принимают чиновники, скажем, Брюссельской комиссии, никем не избранные. Национальные выборы становятся в результате во многом бессмысленными: парламенты уже не решают главных вопросов, национальные властные структуры становятся лишь исполнителями стратегических решений. То есть многие думают так же, как вы. Но почему же тогда Россия так рвется в европейские структуры, объединения, институты? Это, по вашему, не имеет смысла?

— Россия должна и будет сотрудничать с европейцами. Но обязательно ли для этого включаться во все их объединения, в тот же Европейский союз, тем более в НАТО, о чем у нас некоторые почему-то мечтают? Нам бы справиться для начала с сотрудничеством множества своих, российских народов, наладить нормальные отношения с народами бывших республик Советского Союза. Россия по-прежнему является в слабой степени, но империей. Асимметричность нашей федерации указывает на то, что мы сохраняем черты империи. Но это уже в небольшой степени; 80 процентов населения страны русские. Я думаю, что Россия в основном сохранится в нынешних рам-

ках (хотя остаются проблемы с Чечней), а вот Белоруссия в перспективе волеется в Россию. Белорусы, похоже, не ощущают себя отдельной от русских нацией.

— *Представляется, что вы отделяете экономическое пространство и политическое пространство.*

— Конечно. И если мы входим в мировое экономическое пространство, то есть пытаемся войти, то в политическое — нет. Более того, на мой взгляд, у нас будет конфликт с Европой. Объединяясь, она отгораживается от нас барьерами — и гуманитарными, и экономическими. Очевидно. Нам это, конечно, очень не выгодно. Нам нужны соглашения о свободной торговле и безвизовый въезд. Больше ничего пока не надо. Этого абсолютно достаточно. Мы можем принять какое-то европейское законодательство для облегчения отношений, не более того. Для нас глобализация — это прежде всего вхождение, вернее, теперь уже сохранение и упрочение своего места в мировых информационных, торговых, финансовых потоках.

— *Скажите, Сергей Александрович, как вы от науки пришли к политической практике, как оказались в Совете Федерации и чем вас привлекает работа здесь?*

— В правительство я пришел с Гайдаром в 91-м году. Время было такое, что невозможно было не участвовать в преобразовании нашей просто издыхавшей экономики, не попытаться реализовать свои или наши общие (ведь это была команда) представления о том, что можно реально сделать. И я трудился в «Рабочем центре» правительства, потом стал заместителем министра экономики; на несколько лет уехал в Петербург, а потом вернулся сюда два года назад. Характер работы в Совете Федерации сильно отличается от того, что в Думе, у нас любопытная система: закон рассматриваем только после третьего чтения, и может быть пять дней на то, чтобы его обработать, обсудить, — это очень напряженно. В целом больше политическая работа, чем профессиональная. Мы, по сути, вырабатываем политическое отношение к тем или иным документам, и

очень много времени уходит на общение с разными людьми, специалистами, политиками.

— В Петербурге у вас остался научный центр, который вы создавали вместе с единомышленниками?

— Да, и продолжает активную работу. Он изучает больше региональную экономику и власть. Там есть теоретический отдел. Мы издали интересную книжку — “Сравнительный анализ стабилизационных программ”, где концентрированно изложен и осмыслен, можно сказать, многообразный опыт попыток финансовой стабилизации, успешных и неудачных. Как вы, наверное, поняли из нашей беседы, это в русле моих научных интересов. Науку я не собираюсь оставлять. Это политику и бизнес надо разделить, а вот политику и науку — все же не стоит.

Т.М. Малева Вся история человечества — поиск социального баланса

— Татьяна Михайловна, вы возглавляете Независимый институт социальной политики. Такое привычное словосочетание — “социальная политика”, мы при нем родились, слышим едва ли не ежедневно. Но что это по сути своей сегодня и в будущем? Насколько она нужна, важна, как в ней участвуют — и в какой мере должны участвовать — государство, гражданское общество, частный сектор? Мы много говорим о социальном государстве (например, о шведской модели) и хотели бы провозгласить себя таковым. Но известны и трудности, переживаемые сегодня той же Швецией или Германией, которые намерены сократить, свернуть непосильную в современных условиях социальную нагрузку. А что мы? Ориентируемся все же на этот опыт или полагаем его несостоявшимся, рассчитывая построить свою “сильную социальную политику”? Тогда какую? Вот такой для начала разветвленный вопрос, вызванный, в общем, серьезным сомнением: не прибегаем ли мы к старым подходам для решения новых вопросов нового мира?

— Давайте начнем с базового вопроса. Мне как директору Независимого института социальной политики, видимо, было бы рискованно заявить — и тем не менее я пойду на этот риск, — что само понятие “социальная политика” по-прежнему не определено, не имеет четких границ, четкого описания и остро дискуссионно. По этому поводу есть совершенно противоположные точки зрения, и потому у различных участников этого процесса возникают повышенные ожидания от социальной политики. Хотят либо все (население), либо ничего (государство). В одной интерпретации социальная политика лишь сопровождает

экономическое развитие и должна только корректировать какие-то деформации; в другой социальная политика — главный проспект, по которому идет социально-экономическое развитие. По моему мнению, на самом деле вся история человечества — это поиск социального баланса. Не столько баланса экономического и политического, сколько социального. Люди учатся жить друг с другом, учатся развивать общество, в котором живут. Иногда через кризисы, иногда через относительное равновесие. И социальная политика приобретает черты именно политики, когда люди осознают, что это не стихийный процесс, а осознанное строительство. Тем не менее все страны на разных этапах шли разным путем. Это называется и социальной политикой, и “государством благосостояния”, и “социальным государством”. Но в основе лежит одна и та же идея: попытаться найти баланс между различными социальными группами и различными политическими субъектами. С философской, мировоззренческой точки зрения мы понимаем, что абсолютного баланса быть не может, а если может, то это кратковременный баланс. По мере дальнейшего развития разбалансирование неизбежно и начинается новая спираль поисков. Все время появляются новые вызовы. И потому абстрактные рассуждения о сути социальной политики всегда имеют конкретное значение, в том числе и для современной России.

Вот почему и я как аналитик, и Независимый институт социальной политики ориентированы в первую очередь не на теоретические научные труды, а на эмпирические исследования.

Конкретный пример. За последние десять лет в России удвоилась численность инвалидов. В связи с чем? Что случилось? Конечно, ничего хорошего с точки зрения здоровья нации в это время не происходило, но и ничего катастрофического тоже. Более того: несмотря на то что, с одной стороны, действовали явно выраженные негативные факторы (социальный стресс, ухудшение психологического, эмоционального климата, безработица, падение уровня жизни), с другой стороны, проявлялись факторы иного рода. Когда ВВП сократился вдвое, да еще в наукоемких отраслях и в реальном экономическом секторе (там же остано-

вились самые “грязные” производства), экологическая ситуация в стране улучшилась. Сократилось производство, сократился и производственный травматизм. Тем не менее численность инвалидов приближается к 10 миллионам — это 7 процентов экономически активного населения. Такого всплеска не было нигде в мире. Удвоение требовало объяснения. Теоретически объяснить этот феномен невозможно. Обращаемся к эмпирическим исследованиям и выясняем: в 1995 году появилось новое законодательство об инвалидах с новым пакетом льгот для них, а это привело к тому, что люди предпенсионного и пенсионного возраста, которые раньше не фиксировали бы свою инвалидность, теперь, ради получения социальных льгот, предпочли зарегистрироваться. Например, неострые, но хронические заболевания позволяют им претендовать на этот статус. Что в итоге? Ресурсов, финансовых и материальных, конечно, не хватило. Реально от подобной “инновации” выиграли не то чтобы “псевдо”, но и не вполне инвалиды, “хроники”, которые находятся в многократно более выгодном положении, чем “колясочники”, инвалиды с детства, те, кто действительно не может существовать без специальных программ поддержки. Самые слабые реально проиграли, для них не построили пандусы, не создали мощную инфраструктурную систему, в которой они чувствовали бы себя полноценными членами общества. Поддержали инвалидов-пенсионеров пособиями и льготами по жилищно-коммунальной системе, чуть-чуть им помогли. Но в конечном счете не решили проблем ни одних, ни других.

Давайте посмотрим на этот пример с точки зрения социальной политики как глобальной идеи. Может ли быть и считаться эффективной социальная политика, если она стимулирует общество к движению по пути “инвалидизации” — из инструментальных соображений? На этом примере, я считаю, видна очень опасная тенденция: социальное развитие может идти в тупик, не только с точки зрения соотношения ресурсов и целей, но и с точки зрения подмены социальной идеи. А виновато социальное законодательство. Виноват законодатель. Понятно, по каким причинам у него возникает такой соблазн. Он хотел “как лучше” по отношению к ослабленной социальной группе

на этапе драматического падения уровня жизни, доходов и т. д., а получил “как всегда”, не то, что хотел. Он не видел конечную цель, очень плоско понял идею социального государства. Он пошел по пути социальной защиты. Россия назвалась в Конституции социальным государством, но, кажется, по-прежнему не понимает, что это такое.

— *Идея социального государства не включает социальную защиту? Что вообще здесь на первом плане? И что означает процесс поиска социального баланса, о котором вы говорите, для вас как ученого, исследователя и, говоря возвышенно, стратега этого процесса?*

— Что касается стратега и стратегии, в частности стратегии нашего института. С одной стороны, он занимается исследованиями масштабных социальных проблем, от динамики и состояния которых зависит экономическая политика и состояние общества в целом: политика на рынке труда, бедность и дифференциация доходов, социальная защита населения, средние классы и стратификация российского общества, образование и здравоохранение. Эти проблемы касаются массовых социальных групп. С другой стороны, есть более частные “узкие” проекты, скажем “альтернативная гражданская служба” — вопрос, который затрагивает всего 4 тысячи человек. Но мы считаем, что в социальной политике нет больших и малых групп. Есть проблемы, и их нужно решать вне зависимости от численности самой группы. И тем не менее ни одна институция не может охватить всю палитру социальных проблем. Россия же относится к “многопалитровому” обществу. Мы не только сами исследуем социальные проблемы, но и поддерживаем исследования в российских регионах. И в рамках этой программы преобладают проекты, связанные именно с небольшими по численности социальными группами. Например, мы вдруг узнаем о таких феноменах, как “малолетние матери”. По каким причинам, более того, мотивам 14-летние девочки становятся матерями, что потом происходит с ними, с их родителями, их детьми? Другой неожиданный пример — торговцы на “блошиных рынках”. Кто эти люди, что их привлекает в экономической

деятельности такого рода? И вообще является ли “блошинный рынок” методом реализации экономических интересов? Ведь вокруг него формируется некий социум, объединенный не только экономическими моделями поведения, но и социально однородными чертами. Есть исследователи, которые даже склонны трактовать это сообщество как элемент гражданского общества. Лично я не разделяю такой точки зрения, но не могу не признать, что вокруг “блошиного рынка” складывается определенная субкультура, здесь действуют свои социальные технологии.

Вернемся к аксиомам, которые по крайней мере кажутся таковыми. Весьма устойчив миф, что проблема российской бедности — прежде всего проблема российского села. Это самая бедная поселенческая структура. Но все, чем я занималась в последние годы, что слышу от своих коллег, приводит уже к другому выводу. Российское село стагнирует, в этом смысле и сельская бедность стагнирует, она сложилась, она стабильна и почти неизменчива. Но у современной бедности появился другой “адрес”. Объект, где проблема бедности просто кровоточит и где социальная политика должна была бы появиться в качестве “скорой помощи”, — это малые города и поселки городского типа. Да, мы никак не можем признать успешным социальное развитие села, тем не менее там сложилась своя система экономических ресурсов, компенсаторных механизмов. Жители российской деревни депривированы с точки зрения доступа к качественному образованию, здравоохранению, плохо обеспечены имущественно и т. д. Но от голода здесь никто не умирает, земля кормит. В крупном городе тоже складывается своя система ресурсов. Это более мощные рынки труда, финансовые рынки, диверсифицированное экономическое пространство, а малые города зависят “между молотом и наковальней”. Там уже нет ресурсов села, но еще не сложились экономические и социальные ресурсы крупных или хотя бы средних городов. Социум малого города или поселка городского типа часто привязан к двум, а иногда и вообще к одному, градообразующему предприятию, от экономического состояния которого зависит все, в том числе и реальное экономическое положение населения.

— *И как тут идти к социальному балансу?*

— В середине 90-х годов у меня был большой проект во Владимирской области. Я хорошо помню интервью с директором крупного стекольного предприятия. Тогда, в 1993 году, завод практически стоял. Кризис страшный. Меня интересовало, почему этот работодатель, у которого было почти 7 тысяч занятых, по-прежнему придерживает рабочую силу, не идет на ее высвобождение, не увольняет своих сотрудников. Как он выкручивается, за счет чего выходит из положения? И зачем? Его логика показалась, с одной стороны, странной, а с другой — объяснимой: это можно было бы назвать “социальной ответственностью крупного работодателя в условиях кризиса”. Он сформулировал свою позицию следующим образом: “Пусть они лучше ходят на работу и будут трезвыми по эту сторону забора, чем пьяными за его пределами. Я все равно плачу за все, потому что весь поселок на мне. Если я по-прежнему рассматриваю их как своих работников, я как-то могу контролировать процесс; если я их отпускаю, многие инструменты этого контроля я теряю”.

— *Но это патерналистская логика в чистом виде.*

— Да, патерналистская. Конечно, заподозрить всех российских работодателей в патернализме было бы наивно. Помимо этой причины, существовало много других экономических причин, по которым российский работодатель не пошел по жесткому пути в политике занятости и предпочел политику придерживания излишней рабочей силы в период резкого сокращения объемов производства. По этому поводу есть очень серьезные исследования. Российские предприятия не могли сориентироваться в ситуации, придерживали рабочую силу в надежде на последующий рост и прочее. Выиграли они или проиграли — зависит от угла зрения. Выиграли или проиграли работники — тоже зависит от угла зрения. Да, российский рынок труда избежал мощного выброса рабочей силы в безработицу, но именно этот факт очень деформировал рынок труда. У рынка труда как минимум три агента: работодатель, работ-

ник и государство. Но ни один из этих агентов, из этих акторов, не захотел избрать альтернативный путь, ведущий к масштабной безработице. То, что произошло на рынке труда в России, — минимум минимум по сравнению с тем, что могло произойти, если бы реализовался жесткий сценарий, — это был бы обвал рынка труда. По этому поводу тогда много спорили. Например, либерально настроенные рыночные экономисты (типа Андрея Илларионова, с которым мы работали) настаивали: “Не может быть, чтобы Россия была не похожа на другие трансформационные экономики, никакой уникальности здесь нет. Ищите закономерности, вы просто плохо ищите”. Спустя несколько лет стало очевидно, что виноваты в отклонении российского пути не исследователи, утверждавшие, что у рынка труда в России есть ярко выраженные уникальные черты. Оказалось, что это реальность, которую сейчас уже никто не оспаривает. Россия в поисках социального баланса, во избежание социального взрыва выбрала другой тип поведения на рынке труда. Она пошла по мягкому пути, за счет нетрадиционных форм занятости. Неполная занятость, например, в мировой практике вполне привычная вещь, но масштабы, в которых работодатель применил ее в России, — это оригинальный феномен, как и неоплачиваемые административные отпуска. И уж совсем экзотика, которую невозможно объяснить всему цивилизованному миру, — задолженность по заработной плате. Причем экзотически выглядит поведение не российского работодателя, а самого наемного работника, его долготерпение. Бартер, все теневые каналы — Россия оказалась богата на нетрадиционные формы адаптации. Все экономические субъекты оказались весьма креативными.

Моя коллега-американка провела в России пять лет и очень страдала от того, что здесь нет законов, нет регламентов, все время приходится на простые вопросы получать сложные ответы. Она с легким сердцем покидала Россию. Вернулась в Америку, где, наоборот, как известно, очень регламентирована вся жизнь — экономическая, общественная, юридическая. Спустя два года при встрече она призналась, что в Америке ей невыносимо скучно. В Штатах на все есть ответ — закон, нормативный акт, ин-

струкция. Но! Если, паче чаяния, их нет, то проблема становится поистине неразрешимой. Никто не рискнет применить ненормативный метод решения, каким-то образом восполнить лауну. В России, мы знаем, совершенно обратная ситуация. Во-первых, законы охотно нарушаются, во-вторых, уж если нет законов, то точно можно что-то придумать.

— *Потому что (или: вот почему) страна криминальная.*

— Не совсем так. Если рассуждать о России в терминах черно-белых — да, мы скажем, что очень много небелых схем. Но вот какого цвета зебра — черного, белого? Я не считаю это даже зеброй. Скорее, это серый пони. Есть явления и процессы, которые невозможно квалифицировать как нарушение закона или как криминальное поведение, скажем, скрытая занятость и неформальные доходы. Можно привести массу примеров, когда никто ничего прямо не нарушает, а в итоге формируется нетрадиционный тип экономического поведения. Например, никто ничего не нарушает, если по этому поводу Трудовой кодекс молчит, а законодатель не выработал другого закона для того или иного специфического сектора. Это все не криминальные, а теневые схемы.

Недавно мы закончили монографию, которая называется “Средний класс в России: экономические и социальные практики”. Мы нашли очень много подтверждений этой гипотезы. Есть масса мифов про средний класс в России. Среди них два основных. Первый: средний класс — это полностью выходцы из теневого сектора; им удалось удержаться на плаву, потому что теневой сектор их поддерживал, они там сделали свой бизнес, деньги, заимели статус и т. д. Второй, противоположный: у нас такой идеальный и законопослушный средний класс, что его угнетает существование в условиях неформальных экономических отношений, и он мечтает выйти из тени в свет. В реальности — не то и не другое. Средний класс такой же, как и все общество, он не может не быть его отражением. Как все население существует в комбинации открытой и неформаль-

ной экономики, так и средний класс использует возможности и первой, и второй. Надо сказать еще об одной существовавшей иллюзии: российские малые предприниматели составят основу будущего российского среднего класса. Но ничего подобного не произошло. В подавляющем большинстве это люди наемного труда, а не собственники и малые предприниматели. С малым бизнесом, несмотря на многократные декларации о его развитии, воз и ныне там. Это очень незначительная прослойка, не более трех процентов экономически активного населения. Исходя из того, что 97 процентов представителей среднего класса — это лица наемного труда, мы задавали нашим респондентам вопрос: как они строят свои отношения с работодателем? Две трети признались, что есть неформальные отношения. Мы задали еще один вопрос: а кто выступает их инициатором, кто заинтересован в их сохранении — работник или работодатель? Удивительная получилась картина, я считаю, уже из-за этого стоило проводить такой опрос. Более 60 процентов всех работников, в том числе и тех, кто входит в средний класс, признали, что это удобно всем — и работодателю, и работнику. Взаимно. Эмпирическим путем достигнут некоторый экономический и социальный баланс.

Что в итоге? В начале реформ России предрекали социальный взрыв. Очень многие факторы говорили о том, что нам его не избежать. Вспомним, конечно, шок 1992 года. Затем последовала целая серия микрошоков. Микрошок — своеобразный путь, все-таки это не реформа Бальцеровича в Польше и не реформы чилийского типа. Для населения социальную ситуацию можно сравнить с медицинским анамнезом — сначала обширный инфаркт, затем серия микроинфарктов, которые иногда не замечаются. Дальше население действовало ситуационно. К нему пришло понимание, что государство не поможет и не защитит. Адаптационные схемы все уже выработали сами: кто какие. Последнее десятилетие — это поиск нестандартных решений в нестандартных ситуациях.

События 1993 года? Российское население скорее было их свидетелем, нежели участником. Массово это не разделило общество. Движение шахтеров? Бастовали одни и те

же ребята, которые перемещались из Воркуты в Кемерово. Это было оформленное политическое движение, а не стихийная реакция масс на рост социального напряжения, — в любом случае решительно не похоже на то, что понимается под социальным взрывом. Хорошо это или плохо — история ответит. Потому что, с одной стороны, с точки зрения социального развития кризисы никогда не приводят к добру, и мы можем быть счастливы, что взрыва не было. С другой стороны, некризисное развитие привело к формированию некоего социального баланса, где все нашли свои ниши, действуя нетрадиционными способами. Но баланс тоже может быть хорошим и плохим. И выясняется, что этот сложившийся баланс, сложившееся равновесие — плохое, поскольку в нем нет механизма развития. Так какого цвета зебра?

— *Не обязательно ведь идти на баррикады, а вот то, что население ушло в глухое пьянство, безразличие, депрессию...*

— Да, я тоже считаю, что самое негативное последствие, самая существенная цена за избежание острого кризиса — социальная апатия и дистанцирование населения. Оно уже не реагирует ни на институциональные, ни на экономические реформы. Живет в своем мире, без стимулов и механизмов развития. Есть еще один ярко выраженный пример в социальной сфере. Хорошо известна ситуация, сложившаяся в области здравоохранения. Здесь тоже много мифов, в основном связанных с тем, что российские врачи бедны и нищи. Сегодня наш институт уже может доказать, что это не так. Вокруг системы здравоохранения сложилась огромная сеть неформальных платежей. У нас была вполне конструктивная идея: попытаться понять, как можно вывести эту систему из тени на свет. Что нужно сделать, какие реформы осуществить, какую политику в области здравоохранения проводить, чтобы все агенты нашли свое место? Государственная система имела бы такие-то четкие обязательства, финансирование строилось бы по такому-то принципу, медицинские страховые компании так-то себя вели и люди были бы полностью информированы о своих

возможностях. Вопрос более чем серьезный — здоровье нации. Нет ничего более ценного с точки зрения социального развития. Но должна сказать, что закончили мы свой проект с совершенно другими выводами и заключениями, довольно пессимистичными. Во всей системе здравоохранения мы не нашли экономического субъекта, заинтересованного в разрушении статус-кво, включая потребителя, то есть само население. Сложилась неформальная технология. Люди боятся, что система, которая придет на смену нынешней, будет хуже. Работают “стажевые” факторы. Система плоха, но работает. Новая — никаких гарантий. В том-то и драматизм ситуации, что система не нравится никому. Но она сбалансировалась, приобрела устойчивость. И это устойчивое равновесие расшатать еще труднее, чем действовать в условиях кризиса.

— *Если брать тематику ваших исследований, какая, на ваш взгляд, проблема становится проблемой номер один в современных условиях?*

— Инвестиции в человеческий капитал. Но куда они должны направляться: в детей или пожилых? В условиях старения населения кажется, что обеспечить старость — проблема номер один. Пожилое население надо поддерживать. Делаются попытки реформировать пенсионную сферу, как и во всем мире. Но в итоге инвестиции идут пожилому поколению.

— *Проблема: продление жизни или продление трудоспособного возраста?*

— Совершенно верно. Все, что происходит у нас сейчас, — это инвестиции в старость. Как следствие — межпоколенческие отношения приобретают асимметрию.

Сейчас много говорят о проблемах демографии. Чаще всего делается невитиеватый вывод: давайте повысим пособия на детей. Это элемент социальной политики. Я разделяю мнение тех демографов, которые считают, что такая мера, с точки зрения повышения рождаемости, бесполезна. Более того, на мой взгляд, это даже опасно и вредно.

Давайте посмотрим, что такое сейчас повысить пособие на детей. Для каких социальных групп это решение станет стимулом? Для тех, в бюджете домохозяйства которых 100 рублей пособия становятся весомыми. Но что произойдет дальше? Дети рождаются в бедных семьях, которые не смогут их самостоятельно вырастить. Эти семьи будут претендовать на получение пособия по нуждаемости. И государство им, видимо, его даст — в той или иной форме. Скорее всего, эти дети не получат должного образования, это будет ослабленная, неконкурентоспособная рабочая сила, а вполне вероятно — клиенты для пополнения будущей армии безработных. Значит, в дальнейшем государство станет платить им пособие по безработице. Затем многие воспроизведут маргинальный тип поведения, который чаще всего становится (возвращаемся опять к демографии) причиной сверхсмертности в России. Это просто холостой оборот. С точки зрения здоровья — это деградация, с точки зрения социального развития — тупик. Ну а с точки зрения экономической политики — давайте подсчитаем: пособие матерям (стимулирование рождаемости), пособие семьям с детьми, потом пособие по нуждаемости, пособие по безработице, потом, скорее всего, пособие по инвалидности или же на ранние похороны. Бесконечная череда пособий с летальным исходом в 40 лет. Я утрирую, конечно. Но вот, пожалуйста, тип социального развития, если его понимать примитивно.

— *Но ведь нужна поддержка слабых слоев, вы же сами об этом говорите. Каков тогда должен быть ее механизм?*

— Глобальный подход — инвестиции в человеческий капитал как таковой. Думаю, я далеко не первая об этом говорю. Но что конкретно мы имеем в виду? Что здесь самое главное? Образование. Ведь даже с точки зрения рождаемости, продолжительности жизни, с точки зрения поведения на рынке труда, социального, экономического поведения мы всегда приходим к одному и тому же: успешность или неуспешность социального развития определяет образование населения. Конечно, можно просто давать деньги,

те же пособия. У образования же мультипликативный эффект. Это и повышение качества рабочей силы, и формирование новых рынков, и в конечном счете даже рост продолжительности жизни, ведь известно же, что люди с высшим образованием живут на несколько лет дольше.

Мы действительно должны решать текущие задачи. Мы признаем существование в России бедных, безработных, инвалидов и т. д., и, конечно, надо думать, как на сегодняшнем этапе решать их проблемы. Но социальная политика в широком смысле должна прокладывать проспекты будущего развития, преследуя цели инвестиций в человеческий капитал, после чего не потребуются социальной защиты.

— *В связи с этим вопрос: куда вкладывать — в институции или в конкретного индивида?*

— В этом смысле — в человека через институции. Что бы человек, будучи в них включенным, перестал быть клиентом системы социальной защиты. И об образовании я говорю в качестве примера. Да, инвестиции в образование, разумеется, не дадут эффекта к концу финансового года. Возможно, мы не ощутим его и через пять лет. Однако это единственный путь, позволяющий заложить какие-то долгосрочные результаты, хотя он тернист и далеко не все процессы будут выглядеть однозначно. Мы знаем, что образование очень деформирует демографическое поведение людей (отложенные рождения, сокращение рождаемости и т. д.). Происходит изменение в функциональном поведении мужчин и женщин, и точно никто не может сказать, к чему это приведет. Тем не менее другого выхода нет.

А дальше от идеи опять возвращаемся к дню сегодняшнему. Во-первых, какое образование: профессиональное, высшее? Во-вторых, казалось бы, у нас в России все в этом отношении в порядке; несмотря на то что многие говорят о кризисе и полном развале системы образования, российская система продолжает оставаться одной из самых сильных в мире. Но что сейчас происходит? Мы сталкиваемся с еще одним мифом: высшее образование недоступно. Судя же по цифрам, которыми мы располагаем, в стране про-

сто бум высшего образования. Все, кто хочет поступить в вуз, поступает. Ориентированные на это семьи всегда дадут ребенку высшее образование. Вопрос в другом: барьеры действительно существуют, но не на пути к высшему образованию как таковому, а на пути к качественному высшему образованию. И здесь действительно существуют огромная социальная дифференциация, огромный разрыв, определяющие степень преодолемости этих барьеров. У разных социальных групп ресурсы, которые определяют доступность качественного высшего образования, принципиально разные. Нет, наверное, большого смысла сравнивать образование, полученное в стенах Высшей школы экономики в Москве и на экономическом факультете областного строительного вуза. И в том и в другом случае есть диплом о высшем экономическом образовании, но с принципиально разными возможностями на рынке труда, с принципиально разными социальным статусом, доходами и перспективами. С этой точки зрения процессы, которые происходят в России в сфере образования, неблагоприятны. И когда мы говорим об образовании как инвестиции в человеческий капитал, мы должны избегать примитивной интерпретации замысленной реформы как просто доступа к институтам высшего образования. Снимут ли предлагаемые меры существующие барьеры на пути к качественному образованию? И что такое качественное образование? Ведь, по сути дела, снятие барьеров неизбежно ведет к девальвации системы: когда расширяется доступ к образованию вообще, происходит девальвация самого образования.

Вновь давайте обратимся к конкретному примеру. По-прежнему существует большая сеть педагогических вузов. Эта сеть часто ориентирована на выпускников сельских школ. Требования к поступлению постоянно снижаются. Образно говоря, если пару лет назад от абитуриентов ждали, что они смогут извлечь квадратный корень, то сейчас просят лишь возвести в квадрат. Никто не заставляет педагогические вузы ориентироваться на сельскую молодежь, но в этом они сами видят свою социальную миссию. А в итоге интеллектуальная и профессиональная подготовка студентов, увы, находится на очень низком уровне, часто за время обучения они не в состоянии освоить программу,

соответствующую образовательным стандартам, и сама эта программа тоже девальвируется. Получается замкнутый круг. Вуз выполняет не только функцию образовательного института, но и функцию института вертикальной мобильности. Сами ребята при поступлении в областной вуз ищут не столько образование, сколько возможность перебраться в город. “Успешные” находят работу, как-то адаптируются. Но есть и “неуспешные”, которые так и не смогли “зацепиться” в крупном городе — ни за работу, ни за второе образование, ни за “семейное счастье”. Именно они и возвращаются в качестве учителей обратно в село. Порочный круг: выпускник, еще менее образованный, чем его учитель, едет учить следующее поколение сельских детей, которые, вероятно, скоро уже не смогут и в квадрат возвести число. Эти дифференциалы возрастают и возрастают.

Образование, повторю, — долгосрочный ресурс. Это не доход, который может сегодня быть, а завтра исчезнуть, не предметы длительного пользования, которые тоже служат определенный срок, не сбережения, которые тоже имеют обыкновение кончатся, если их нечем пополнять. Образование поможет человеку выстроить свою трудовую жизнь, а если он в течение трудовой жизни будет успешен, то сможет обеспечить хорошую пенсию. Поэтому, с одной стороны, главный просpekt — качественное образование, но, с другой стороны, его качество зависит от конкретной социальной политики. Чтобы социальное развитие России было успешным, надо многое сделать уже сейчас. Способный человек должен иметь шанс поступить в любой вуз страны, а не быть территориально привязан к областному педагогическому вузу, где его судьба уже предопределена: конвейер работает бесперебойно.

Я уверена, что “адресная” политика тут не поможет. Нельзя “назначить” уязвимые в этом плане социальные группы и для каждой из них придумать систему социальной защиты. Это абсолютно бесперспективный путь. На сегодняшний день у нас таких групп, согласно законодательству, 256. И охватывают они 70 процентов населения России. Звучит как нонсенс: адресная поддержка 70 процентов населения. Как, впрочем, нонсенс и 20–30 процентов бедных. Какой же богатой страной надо быть, чтобы

поддерживать 20-30 процентов бедных? Таких стран не бывает. Мы просто сами не замечаем, сколько несуразностей часто звучит в одном сложноподчиненном или сложносочиненном предложении: говорится, что Россия — бедная страна, потому давайте осуществлять адресную поддержку населения. Просто через запятую, хотя это почти взаимоисключающие вещи. “Адресная” политика эффективна там и тогда, когда удастся локализовать бедность. Связь как раз прямо противоположная. Конечную цель социальной политики я вижу именно в том, чтобы было как можно меньше социально уязвимых групп, нуждающихся в социальной защите и адресной помощи. Задача социальной политики — чтобы абсолютное большинство населения могло существовать и действовать само, без вспомогательных программ и мероприятий. А это вопрос эффективности социальных институтов.

— *Мы всю жизнь повторяем лозунги: все в человеке, все для человека, здоровье нации — это главный экономический показатель... Вы верите, что так будет когда-нибудь?*

— Верю. Но для этого нужен общественно-социальный договор между всеми участниками социального процесса. Люди сами, например, должны хотеть быть здоровыми. В сверхсмертности в первую очередь по привычке обвиняют систему здравоохранения. Да, мы можем предъявлять претензии к службам реанимации, реабилитации. Но вопрос: почему у мужчин в 40 лет случается инфаркт? Это противоречит логике, между тем к инфаркту человек пришел сам. Нельзя заставить людей вести здоровый образ жизни вопреки стилю жизни, характерной для его микросреды. И возникают вопросы уже другого плана: как изменить эту среду? И это тоже социальная политика, тоже социальные процессы, поскольку люди воспроизводят образ жизни определенного сообщества, некой субкультуры.

— *На этом фоне можно сказать, что мы действительно идем тем путем, который уже прошла Европа, или у нас он другой?*

— На этом фоне у нас есть уникальная возможность учиться, ведь Европа тоже сделала много ошибок, нам не обязательно их повторять. Так называемый шведский эксперимент, например, дал очень много уроков. Часто повторяется аксиома, что доходная дифференциация и социальное расслоение — это плохо. На самом деле это тонкий вопрос. До какого-то момента доходная и имущественная дифференциация может служить стимулом для экономического развития. В конце концов верхние слои, так называемый высший класс — носитель инновационных идей и прогрессивных технологий. Они создают рабочие места для остальных, потому на определенном этапе нужно дать им возможность развиваться. Но далее в какой-то момент, когда бедные социальные группы не видят своего места в общественной и экономической структуре, высокая дифференциация становится тормозом развития. Торжествует логика: “Что бы я ни делал, все равно это не работает на мое экономическое и социальное положение”. Действительно, часто так. Если посмотреть на российских бедных (настоящих бедных), им прежде всего присуща апатия — экономическая, социальная, трудовая. Россия подошла к этому порогу, значит, надо сжимать дифференциацию. Шведский эксперимент — попытка именно такого типа. Сначала — внешне успешная. Были выработаны условия, при которых различия в уровне доходов и потребления работающего менеджера, учащегося студента и безработного не были кратными. Была сформирована относительная социальная однородность. Но и такой баланс не может существовать вечно. В итоге это же состояние стало работать против экономического развития страны и в конечном счете против социального развития. Опять апатия: “Не имеет смысла наращивать свою трудовую активность, если большую часть дохода отдаешь в виде налогов государству на социальные программы”. Вот урок политики патерналистского типа, которая, с одной стороны, сняла социальные противоречия, но с другой — лишила систему стимула к экономическому росту. Еще одно подтверждение: успешна та социальная политика, что умеет трансформироваться, причем концептуально, стратегически в зависимости от глобальных целей развития.

— *А как уловить момент перехода?*

— Это и есть искусство политики и искусство управления. Если бы нам удалось довести до минимума число уязвимых социальных групп, зачем бы системе социальной защиты кому-то навязывать свои услуги? Внешне такая политика может казаться социально пассивной. Но это и есть идеал. В реальности, разумеется, такой идеальный тип никто никогда не сможет сформировать. Это процесс поиска некоего баланса “здесь и сейчас” плюс некий долгосрочный ориентир. Существует интегральный критерий эффективности социальной политики — умение реагировать на вызовы времени. В этом отношении я не слишком пессимистична. Да, социальная политика в России слаба, она зачастую дает противоречивые результаты. Мы знаем очень много ошибок, которые сделаны и делаются. Но можно же назвать, так сказать, и “неошибки”.

— *Например?*

— Боюсь, я буду выглядеть экзотически в глазах читателей, но “неошибка”, на мой взгляд, — это то, что не стали существенно (кратно!) повышать зарплату бюджетникам. Последствия принятия этой, казалось бы, логичной меры были бы просто катастрофические по всем основаниям — социальным, экономическим, трудовым. Такое предлагали и предлагают с завидной регулярностью — увеличение в два, три, пять раз. Разумеется, невозможно отрицать, что заработная плата в бюджетном секторе экономики прискорбно низка. Но выход не в реформе (произвольном повышении) оплаты труда в этом секторе. Выход в другом — в реформе самого бюджетного сектора. Не может быть эффективной зарплата в неэффективном экономическом секторе.

— *Нельзя не согласиться, что бюджетный сектор в этом смысле — непаханая целина. Но ведь это эксперимент на реальных людях, и пока он будет длиться, огромная масса народа...*

— Вопрос: а нужна ли здесь такая огромная масса? Сочувствую всем, кто вынужден оставаться в бюджетном секторе экономики. Хотя напомню, что в первой половине 90-х наиболее экономически активная часть из него ушла. В какой-то степени это добровольный выбор. Не всегда, конечно, особенно когда речь идет о российских регионах. Малый город — куда там пойдет бюджетник? Можно лишь переехать в другой регион, но механизм межрегиональной миграции тоже не развит. И тем не менее будет огромной ошибкой, если искусственным путем мы попытаемся сохранить бюджетный сектор и с его огромной численностью, и с высокими зарплатами.

Согласитесь, что и в этом секторе есть эффективные и неэффективные, успешные и неуспешные организации. Одни, помимо бюджетного финансирования, умеют зарабатывать, другие — нет. Есть хорошие школы и есть плохие. Этим сегодня никто не занимается. Но зарплата у большинства работников бюджетной сферы приблизительно одинакова, причем, увы, одинаково мала. Есть бюджетная часть зарплаты, есть внебюджетная, она может быть очень маленькая или довольно большая. Какая доля из этих источников идет конкретному работнику? У одного 95 процентов его зарплаты идет из бюджета, у другого — лишь 5 процентов. Когда мы говорим — “повысить заработную плату”, то это повышение должно происходить одинаково? А каков будет результат? Первый работник, безусловно, будет счастлив, а второй просто не заметит, что ему зарплату повысили. Реального же положения и реального механизма формирования оплаты труда на бюджетных предприятиях мы не знаем, а не зная, нельзя реформировать.

— *В качестве резюме можно сказать, что ваше предназначение как исследователя — все время держать руку на пульсе социальной политики, предвидеть ее повороты или что-то такое в развитии общества, что должно ее развернуть...*

— ...и ни в коей мере не подменить идею социальной политики идеей социальной защиты, как в подавляющем большинстве случаев сегодня это понимается и общест-

вом, и политиками. Весь мировой опыт как раз говорит о том, что дисбаланс в социальной защите приводит не только к высоким экономическим издержкам, но и к тому, что реально проигрывают те, которых вы пытаетесь защитить. Выработали чрезмерно щедрое законодательство в отношении инвалидов, в результате — удручающий рост численности инвалидов. Чрезмерные гарантии женщинам и молодежи в трудовом законодательстве приводят к тому, что именно эти группы нежеланны на рынке труда. Действительно, кого предпочтет работодатель — трудоспособного мужчину, от которого можно ждать нормативного рабочего времени, или учащегося юношу, по отношению к которому нужно выполнять все законодательные нормы, означающие сокращенное рабочее время?

Здесь важны стратегическое мышление и координация тактических действий. Мои ассоциации в отношении социальной политики именно такие.

— *Насколько быстро мы будем развиваться, Татьяна Михайловна?*

— Смотря в каком направлении. Россия находится на таком этапе, что будет развиваться быстрее, чем в предыдущие десятилетия. Большинство аналитиков и политиков были склонны ругать реформы за их непоследовательность, противоречивость и высокую социальную цену, которую пришлось заплатить. Но в реальности происходило некое накопление необходимого числа преобразований, которые спустя определенный временной лаг начали давать эффект. И сейчас, если вести грамотную экономическую и социальную политику, есть возможность использовать этот ресурс.

— *А вам не кажется, что в чем-то мы возвращаемся назад?*

— В чем-то, наверное, да. Если поставить перед собой цель назвать десять векторов позитивного движения, легко назвать и десять векторов негативных. Но совершенно ясно, что Россия стала уже совсем другой страной, поэтому

даже ретроспективное сравнение во многом потеряло смысл. Накопленный потенциал уже никуда не денется. Наша задача, коль скоро мы говорим о политике, экономической и социальной, совершать осмысленные действия. Креативность в политике, я надеюсь, будет возрастать. Пока не могу сказать, что уже вызрела четкая социальная идея и концепция социального развития. Но в тот момент, когда мы увидим четкий диагноз, появится и ответ на вопрос, как лечить болезнь. Как только мы поймем, в чем заключается вызов, найдутся и механизмы.

— *Вопрос несколько иного, скорее, личного плана: вы чувствуете себя востребованной этим временем, удовлетворены тем, что делаете, ощущаете некий реальный итог своей деятельности? Ведь некоторые ваши ровесники, даже из числа наших авторов, называют ваше поколение “потерянным”. В смысле соответствия духу времени, скажем так.*

— Я совершенно осознанно отношу себя к переходному поколению. Я успела захватить временной период с прежней системой понятий, ценностей, правил игры, которые мы вынуждены были принимать вне зависимости от того, нравились они нам или нет. В большей и принципиальной своей части они мне не нравились, поэтому, наверное, я довольно активно повела себя в новой жизни. Наше поколение не могло действовать инерционно, у нас не было времени долго размышлять и выбирать стратегию, мы часто действовали интуитивно, а не после детального анализа. Мы вынуждены были принимать решения довольно радикальные. В каком смысле? Или я то-то делаю, или я этого не делаю. Но “отсидеться” было нельзя. Если жизненные амбиции кого-то из моего поколения не состоялись, разбились, в значительной степени это все-таки результат внутреннего решения.

МГУ обладает такой магией: он создает своему выпускнику мощный плацдарм, с которого можно, как в прыжках с трамплина, прыгать куда угодно. Не могу утверждать, что он обогатил меня особыми специальными знаниями или профессиональными навыками. Но он создал большой за-

пас теоретических и методологических знаний. Образно говоря — научил учиться. Долгое время я в активной позиции видела двух-трех человек со своего курса. Казалось, что мы — курс неудачников или же, по меньшей мере, не очень успешных экономистов. Но в последние пять лет все нашлись. Оказывается, среди нас много вполне состоявшихся людей, с интересной работой, с успешной карьерой, есть просто звезды...

Нашему поколению пришлось проходить непростую проверку реинкарнацией. У кого-то она произошла, у кого-то — нет. Вот перед следующим (через 10-летие) поколением такая цель уже не стояла, и подобную проверку они не проходили. Парадоксально, но мне следующее поколение кажется менее успешным. Характерно: в нашем институте работают люди в возрасте около 40 и чуть выше, с одной стороны, и вторая группа — в возрасте до 30; 32–36-летних нет, а их очень не хватает. Говорят, они все в бизнесе и занимают там высокие позиции. Может быть. Но интеллектуальное их влияние на развитие социальных процессов ослаблено. Возможно, они делают деньги, но не определяют лицо политики. У тех же, кто идет следом, им от 20 до 30 лет, на мой взгляд, все более благополучно. Они, конечно, отличаются большей прагматичностью, большей технологичностью, но одновременно и большей целеустремленностью. Насколько они креативны, насколько продуктивны, мы пока судить не можем. Это вопрос будущего.

Но мое поколение — первое, которое почувствовало себя необязанным хвататься за старые ориентиры, образцы, модели поведения.

— *Вас можно отнести к оптимистам?*

— Если посмотреть на сферу моих научных интересов и публикации, то какой уж тут оптимизм: безработица, инвалидность, бедность, смертность... Таков сам предмет моей деятельности. Но последняя крупная работа, о которой я уже упоминала, — исследование по проблемам формирования и развития российского среднего класса. Как эксперт я считаю, что факт существования среднего класса и

его относительной устойчивости для нашей страны, которая пережила столь тяжелые социально-экономические потрясения, — очень весом. Как частное лицо я уверенно отношу себя к среднему классу и постараюсь способствовать развитию такого сценария, который приведет к его росту. Это и будет интегральным критерием успеха социально-экономического развития России. И в этом отношении я оптимист.

С.В. Захаров Одно поколение может проживать много жизней

— *“Человечество стремительно стареет — приведет ли это к катастрофе?”*. Таков недавний вопрос-заголовок одной из центральных газет. Если сопоставить это с утверждением ряда ученых о “сжатии” исторического времени, то не улавливается ли здесь некое противоречие? Что скажете, Сергей Владимирович, как ученый-демограф?

— Под “сжатием” времени часто понимается изменение преимущественно вещественной среды — идет ускорение информационных потоков, транспортных связей и т. д. Но многие измерения, наоборот, увеличиваются, и в нашей сфере — это в первую очередь возрастание средней продолжительности жизни человека. Фундаментальная вещь: одно поколение может проживать несколько жизней. В прошлом, сто лет назад и более, скорость смены поколений была очень высокой. Множество представителей каждого поколения умирало, не дожив до возраста вступления в брак, реализации своего потенциала. В то же время передача накопленного опыта могла происходить только при непосредственном контакте людей. От родителей к детям — единственный путь трансляции в такой системе. Человек едва успевал родить ребенка и передать ему дело. Расширение знания, приобретение опыта, особенно глобального опыта, было очень ограниченным и происходило медленно. Коротче говоря, инновации пробивались с трудом в силу именно краткости жизни человека.

Сегодняшние реалии — это ведь не только то, что человек может менять профессию гораздо чаще (потому что ему времени отпущено больше), но и обретение новых опытов, которые привносят исторические события. Это и

одновременное сосуществование нескольких поколений. Никогда прежде в истории не было, чтобы сосуществовали четыре поколения сразу. Сейчас это становится нормой в странах с достаточно высокой продолжительностью жизни, когда на фоне снижения рождаемости быстрее всего увеличивается удельный вес людей старше 80 лет. Можно, наверное, говорить, что время сжимается в силу интенсификации взаимодействия людей, но в то же время нужно понимать и то, что индивидуальное время, измерение человеческой жизни, опыта — расширяется. Мало того что удлинился период образования, на протяжении своей жизни человек также вынужден постоянно подстраиваться, адаптироваться к меняющейся реальности. Можно представить, допустим, сколько событий, к которым пришлось адаптироваться, пережил мой 85-летний отец: от явления аэроплана, который прилетел в его периферию в 1925 году, до пришествия компьютера, который он освоил, — это шаг совершенно невероятный. А там было все: и коллективизация, и голод, и войны, в которых он участвовал. В будущем, я надеюсь, станет меньше таких социальных кризисов. Но главное — человек будет вынужден все время работать над тем, чтобы учиться жить в новом состоянии меняющегося мира. Я готов согласиться с тем, что мы переживаем критический момент в истории цивилизации, когда происходит переход человечества в качественно новое состояние. Но не надо думать, что это новое состояние — апокалипсис, крах всего и вся. Нет, просто мы медленно эволюционируем в другую экономическую и социальную систему. И это опять же во многом связано с демографическими процессами, потому что население стареет.

В свое время, когда я только появился в Институте социологии (в начале 1980-х в ИСИ я писал дипломную работу, а позднее работал там больше пяти лет), писались трактаты: “Утопии стареющих обществ”. В таком неопубликованном виде эти эссе были очень забавны. Тогда уже у некоторых интеллектуалов было понимание, что общество идет к совершенно другому состоянию. И хотя многие и тогда, и теперь в этом смысле смотрят на будущее апокалиптически, тем не менее общество, к которому мы движемся, действительно совершенно иное. Здесь

иные отношения между людьми, другая экономика. И к тому движется практически весь мир — уже половина населения земного шара имеет рождаемость ниже двух детей в расчете на одну женщину, а средняя продолжительность жизни стариков повсеместно, кроме России, растет, пока не обозначая каких-либо пределов.

— *Экономика иная, потому что надо справляться с проблемами удлинения жизни или наоборот: жизнь удлиняется, так как создаются для этого экономические возможности?*

— В принципе и то и другое — верно, здесь нет логического противоречия. Экономика другая, потому что в стареющих обществах не будет промышленных производств в традиционном представлении. Посмотрите недавно опубликованную “Новую социальную парадигму Японии”. Там это действительно обсуждается, и экономическая ситуация достаточно серьезна. Учитывая низкий уровень рождаемости, перспектива стать первым в мире старым обществом у них вполне реальна. Но в чем парадигма? Абсолютно не тривиально. Она заключается в том, что все фирмы в Японии будут производить только интеллектуальные продукты. А само производство будет размещаться вне страны. Иначе говоря, сохраняется марка “Сделано Японией”, но не Made in Japan. Это действительно прорыв в сознании общества, которое видит себя в будущем преуспевающим, лидером мировой постиндустриальной экономики (хотя новая парадигма может кем-то оспариваться). В то же время едва ли станет откровением, что новая эффективная экономика даст дополнительный толчок к росту продолжительности жизни.

— *А инновации — разве не удел молодых? В состоянии ли стареющее общество создавать интеллектуальный продукт?*

— Традиционный вопрос: кто будет привносить инновации? Так и будут молодые. Но дело в том, что после этого нужно решать массу практических задач, рутинных

загадок, для чего, зачастую, опыт важнее всего. Например, как широко использовать эффект сверхпроводимости. Организационно-технические, экономические, политические, наконец, проблемы решаются совсем не юными людьми. Стареющее общество, мне кажется, — один из главных вызовов современной цивилизации; на острие, конечно, находятся наиболее развитые страны. Россия тоже погружена в проблему, которая будет развиваться, расширяться; в ближнем будущем (10-20 лет) это станет главным. Динамика — движение к состоянию, когда пожилые люди численно преобладают над детьми. Сейчас каждый четвертый житель страны — пенсионер. Примерно за 15 лет эта цифра возрастет до 30 и более процентов. Чисто экономические последствия — пока воспринимаются только утилитарно, примитивно — колоссальный рост налогового бремени на работающих. Наши люди до конца еще не осознают, насколько это серьезно в более широком контексте. Я участвую во многих международных проектах, связанных в том числе и со старением, на которых ведутся дискуссии на профессиональном уровне. Речь идет о том, что человек работающий вынужден будет сокращать текущее потребление, причем существенным образом, чтобы содержать самого себя на пенсии. Помимо того, что надо отчислять высокий процент для поддержки уже существующих пенсионеров, нынешний работающий должен будет отчислять еще больший процент, чтобы потом, на пенсии, содержать самого себя. Платит налоги не только наемный рабочий или служащий, но и работодатель, безусловно. Существуют еще и системы страхования для инвалидов и никогда не работавших по тем или иным причинам. Обязанности между агентами распределяются в соответствии с контрактом между государством, работодателем и работником. Прежняя система неплохо действовала до эпохи быстрого увеличения пропорции пожилых и старых. И когда такой момент наступает, тройственный контракт модифицируется в том смысле, что большая часть нагрузки начинает нести индивид. Потому в развитых и быстро развивающихся странах происходит переход к накопительным системам.

— Это единственная модель решения проблемы или существуют другие?

— Могу сказать даже такую вещь: пока это все равно паллиатив. Единственный разумный паллиатив, потому что, говоря строго математически, при существующем уровне рождаемости в разных странах эта система не балансируется. До тех пор пока поколение детей будет меньше по численности поколения своих родителей, сбалансировать ее невозможно. Потому что, если, допустим, в каждой семье будет по одному ребенку на протяжении жизни нескольких поколений, это значит, что на него ложиться “двойное бремя” — он все равно должен будет обеспечивать проживание двоим взрослым-пенсионерам. При сохранении прежней распределительной системы пенсионного обеспечения падение уровня жизни среднего пенсионера неизбежно. Да и накопительная система способна лишь ослабить надвигающийся “экономический конфликт” между поколениями.

Я принадлежу к поколению достаточно многочисленному, дальше еще будут “бэбибумеры” 80-х годов (их, правда, уже меньше). Так что у нас такая извилистая кривая соотношения между трудоспособными и нетрудоспособными. И глубоко прав Анатолий Григорьевич Вишневский, постоянно повторяя, что эта нагрузка, социальная или демографическая, на трудоспособных не сильно увеличивается в стареющих обществах в целом, в общем объеме. Но в то же время идет изменение ее структуры, все больший удельный вес занимает поддержка пожилого населения и уменьшается нагрузка, которая обеспечивается детьми и молодым поколением. Это бы и неплохо, если бы можно было выйти на какой-то баланс. Однако баланс не достигается, пока снижается рождаемость. Чисто экономическая сторона данной ситуации будет становиться все более проблематичной — налоги будут расти. Неизбежно и повышение пенсионного возраста.

— Можно сказать, у нас сейчас существуют две программы: продления жизни трудоспособных возрастов и стимулирования рождаемости. Они реализуются параллельно? И не противоречат друг другу?

— Противоречат, конечно, в смысле статей бюджета... Ну а что такое стимулирование рождаемости? Нигде и никогда никакое стимулирование рождаемости не приводило к ее повышению. Такая политика проводилась или проводится в ряде стран, например во Франции, в Швеции, в прежних Чехословакии, Венгрии, хоннекерерской ГДР. Но это не означает, что рождаемость там существенно выше (или была выше) по сравнению со странами, где политика активного пронатализма не проводилась. Она могла в результате неких мер скакнуть на несколько лет (как у нас — “бэбибум” 80-х), однако тут же за этим следует провал, и очень большой. Человечество пока не выработало способы решения проблемы низкой рождаемости и действует, исходя из представлений обыденного сознания: детей не имеют, потому что жить плохо. Зарплата низкая, не покрываются расходы на детей из каких-то там фондов, доходов не хватает, чтобы обеспечить им достойную жизнь. Это парадигма, построенная на материально-экономическом представлении об устройстве общества, устоявшемся с довоенных времен. Впервые об этом заговорили на Западе в эпоху экономического кризиса, когда действительно упало число браков, рождений, они подошли к порогу (а многие преодолели порог) простого воспроизводства населения. Посмотрите работы социологов, которые проводили интервью в Англии. Все те же аргументы. Англичанки в 30-е годы ссылались на то, что нет денег на достойное жилье. На самом деле даже в те годы жилищные условия там были существенно лучше, чем в XIX веке. Наш, российский пример: совершенно невозможно сопоставить уровень жизни, достигнутый в 80-е годы, с уровнем в первое послевоенное десятилетие, но рождаемость существенно ниже — почти в 2 раза. Здесь гораздо более важна оценка того, что хорошо, а что плохо, какие у людей притязания, стандарты потребления, что вкладывается в тот континуум, при котором сам человек ощущает себя комфортно. Почему в этом комфорте не находится место третьему или второму ребенку — вопрос.

— Мы посмотрели отклики на одну из ваших публикаций. Кто-то пишет: Захаров не прав, когда говорит,

что главное — это бороться со смертностью, а не за повышение рождаемости. Другой возмущается: мы ведь не кролики, зачем нам так размножаться; никогда в России не было столько народа, сколько нас есть сейчас, — так и давайте жить. Какая из точек зрения вам представляется, что ли, нормальнее, перспективнее?

— Так вообще сказать нельзя: что нужно в первую очередь в данном случае. Необходимо и то и то. Просто с нашим уровнем смертности мы не вписываемся ни в какие представления о развитой стране, и в то же время имеется международный опыт ее снижения. Когда же мы говорим, что надо осторожно подходить к манипулированию уровнем рождаемости, имеется в виду: а) никто не знает, как этот уровень повысить; тот, кто говорит, что знает, просто недостаточно профессионален; б) никто не знает последствий этого. Речь ведь идет о массовом выборе миллионов людей, которые таким именно образом определяют себя в данном мире. Но садятся пять-шесть человек и решают, что эти многие миллионы ошибаются, имея столько-то детей, их надо поправить. С помощью чего? С помощью воздействия в виде какой-то политики. Я неоднократно писал, что такой индикатор, как ожидаемое число детей, оцениваемое на основе мнений опрошенных или с использованием конъюнктурной статистики, абсолютно не работает в эпоху переломов, с приходом новых поколений. Тут действительно можно четко провести границу, скажем, между моим поколением и предыдущим или последующим.

— *А к какому поколению вы относите себя?*

— Примерно от 1955 до 1965 года рождения. Это те когорты, что прошли полную школу советской системы, приобрели весь заряд мысли и знаний, которые тогда можно было получить. Они успели поработать еще при социализме и добились все-таки неплохих успехов уже в изменившейся системе, имея возможность сопоставить то, каким образом они были социализированы и сколь образованны, с тем, какова реальность. Думаю, это первое поколение, которое смогло перестроиться, адаптироваться

и найти себя. Конечно, в основном антикоммунисты. Безусловно, прагматики, в большей степени, чем адепты неких социальных идей и теорий. Это первое поколение, я думаю, которое реально приступило к организации жизненного пространства под себя (чем и отличается от предыдущих), стараясь своими силами, знаниями и т. д. сделать его комфортным. Другие поколения (рожденные до революции) вынуждены были в большей степени либо менять что-то из-за действия извне, либо принимать новую парадигму, связанную с революцией и идеями построения нового общества, либо просто “рассыпаться”, эмигрировать и т. д. Значительная часть этих людей никогда хорошо не питалась, они с трудом вступали в браки (были постоянные кризисы), с трудом жили, в условиях вдовства и сиротства. В поколениях 30-х годов рождения ситуация была чуть лучше, потому что они начали вступать в бракоспособные возраста уже в период постсталинизма. Родившиеся же после нас, в середине — конце 60-х, ведут себя совершенно иным образом даже в демографическом плане. Фундаментально иным.

Последние два года я много занимаюсь демографической историей России XX века. К сожалению, специалисты, даже очень хорошие, прожившие достаточно долго в демографии, так и не написали ее историю — были проблемы идеологические, статистические, технические. Но такая история не написана даже на том отрезке, на котором можно было бы это сделать. Сейчас мы в не углубляемся, и вот могу сказать, что в течение 100-150 лет (нет возможности заглянуть дальше) брачная модель россиян абсолютно не менялась. То есть поддерживалась социальная норма раннего брака, всеобщего брака; средний возраст вступления в брак или возраст, когда половина вступает в брак, или возраст, когда чаще всего вступают в брак, для женщины оставался неизменным. Это означало слитность трех видов поведения — начала сексуальной жизни, вступления в брак и рождения первого ребенка. Монолит. Он, конечно, подтачивался историческими событиями, так, скажем, женщины 1920-х годов рождения позже выходили замуж, им просто не за кого было выходить. Но как только нормализовались половые пропорции,

все вернулось к традиционной модели, существовавшей в XIX веке. Если мы посмотрим на интенсивность вступления в брак, возраст вступления в первый брак в начале 90-х годов XX века, показатели ничем не будут отличаться от конца XIX века. А вот середина 90-х — точка перелома. Положение начинает меняться. И это одно из фундаментальных знамений нашего времени.

— *Начинает меняться потому, что резко изменилась ситуация в стране, или потому, что в брачный возраст вступило поколение сексуальной революции?*

— Это одна из дискутируемых тем не только у нас, в нашей литературе, но и на Западе, где брачно-семейное поведение действительно начало меняться именно в поколениях “сексуальной революции”. Сегодня очень похоже идут процессы и в России, и во всех странах Восточной Европы. В Венгрии, Чехии брачные модели стали меняться на несколько лет раньше, в точном соответствии с началом здесь экономических и политических преобразований. Что за этим реально стоит, о том и дискутируют. Есть точка зрения, самая простая и опять же связанная с обыденным сознанием: просто живется плохо. Люди не имеют достаточных доходов, чтобы формировать новые семьи, поэтому браки откладываются до лучших времен (как это делали бабушки и прабабушки, естественным образом реагируя на те или иные события). Надо проводить правильные экономические реформы, сделать правильные политические выводы и изменить путь движения общества, чтобы повысить уровень жизни. Тогда люди тут же начнут заключать браки, рожать детей и т. д. Другая точка зрения, к которой тяготею я, не столь однозначна: события, вызвавшие экономические и политические реформы, безусловно, дали импульс повороту и в отношении к брачным моделям (даже чисто по датам, по поколениям это видно); вместе с тем и сами прежние модели брачного и репродуктивного поведения были в тупике. Почему? Когда в одном возрасте происходило завершение образования, приобретение первой профессии, миграция в поисках лучшего места для проживания, рождение ребенка — ясно, что все

это одновременно плохо совмещалось. И могло осуществляться только при сильном патернализме как на уровне семьи, так и на уровне государства. Система, при которой не может быть ни хорошего образования, ни здоровых детей, если хотите (мать все время от них оторвана либо не растет профессионально). И вот эта неотрадиционная система, абсолютно неустойчивая, рухнула, как только изменились экономические потоки между поколениями.

— *Но сейчас, когда к власти пришло как раз ваше поколение, молодые прогрессисты, мы, кажется, возвращаемся к той же модели, к тому же патернализму. Дума рассматривает соответствующие проекты, принимаются удивительные законы...*

— Меня продолжают приглашать в “профильные” думские комитеты и комиссии, но я уже несколько лет туда не хожу. Создается впечатление, что и сами политики, и то, что они предлагают, их, так сказать, инструментарий не имеют никакого отношения к реальности. Чистой воды популизм, который в лучшем случае будет нейтрален по отношению к процессам. Вот когда пытаются принимать какие-то решения, которые, я вижу, будут иметь отрицательные последствия, я нахожу способ выступить против. Разъяснял, например, в печати, чем плоха “концепция демографической политики”, почему она не может устраивать. У них такой модус — запретить, ограничить, ввести обязательность, перераспределить. Однако лучшая политика в области семьи и демографии — расширить возможности для людей самим решать эти проблемы. Я вообще считаю: если постановление или закон ограничивают свободу выбора, их можно выбросить в корзину, потому что рано или поздно они приведут к непредсказуемым последствиям либо будут просто никому не нужны. А появляется, скажем, возможность получить кредит (для молодых или старых), и тебе легче решить проблему жилья (что в молодости, что в старости). Если улучшить ситуацию со страхованием (образования, здоровья), это расширит возможности человека распорядиться своим временем, реализовать семейные планы, в том числе и в отношении количества детей.

Если вернуться к разговору о поколениях, то мои, например, ровесники прежде всего стремятся решить проблему жилья. Все демографические исследования показывают, что единственная экономическая материальная переменная, которая оказывает влияние на число детей, — “прокрустово ложе” нашего жилища (все остальное имеет малое отношение). И именно этот момент ограничивает возможности переустраивать пространство под себя, что так важно для нас, как я уже говорил. В поколениях, родившихся после середины 60-х, четко ощущается “революция притязаний” (по словам Владимира Магуна). У них не только повышаются стандарты материально-вещественные, но и изменяется, повторю, демографическое поведение. Они сейчас интенсивно откладывают брак, притом сексуальная жизнь начинается раньше. В этом смысле — первые поколения за всю историю российского общества. Такого не было никогда. Почему это стало возможно? Конечно, меняются инструментально-технологические основы, контрацептивное поведение. Мы, мое поколение, еще реально страдали от этой проблемы. Регулирование размеров семьи, времени рождения ребенка было неэффективным. И неудовлетворенность в сексуальной сфере, и аборты, и ранние вынужденные браки (до половины от всех первых браков), и несчастные браки, и разводы, и больные, и брошенные дети — вот неполный перечень последствий. Так вот, новые поколения выбирают другой модус поведения, и, единожды почувствовав возможность управления этой сферой жизни, уже не вернутся к прежнему состоянию, воспроизводящему печальный опыт их родителей (потому я так скептически отношусь к концепции, связанной с плохими экономическими условиями). Одним из очень важных моторов, которые здесь работают, является образование. Люди все-таки изменили отношение к ценности образования. Мы первое поколение, которое почувствовало, что образование действительно дает доход, и инвестиции в собственных детей в этой сфере перевешивают все остальные текущие материальные затраты. Так же было и в западном мире, только 30-40 лет назад. В данном случае мы повторяем этот путь, как и в отношении того, что у нас называется “вторым демографическим переходом”, а по сути —

это изменения тайминговой модели, календаря демографических событий и их последовательности. Следовательно, теперь можно жить с кем-то вместе, в законном или не законном браке, можно рожать ребенка до заключения брака или после, иметь детей вне брака, можно сменить партнера и т. д. Нарушились традиционная последовательность событий и их временное распределение. И если говорить о нашем будущем, то, конечно, Россия пройдет все этапы, которые были характерны для западных стран, начиная с середины 60-х годов, а фактически — с молодежных революций, прогремевших тогда по Европе и Америке и фактически означавших освобождение молодежи от патернализма (традиционного семейно-родительского и отчасти государственного). Эти нигилисты потом превратились в трудоголиков. Они действительно добились освобождения от пут традиционного общества.

— Россия такая большая и разная. Вы думаете, в ней утвердится только одна, и именно западная, модель брачно-семейных отношений?

— В России демографический монолит очень крепок. Это весьма однородная в демографическом смысле страна: 80 процентов населения придерживается одних и тех же норм, и меняется все очень синхронно. В принципе, если смотреть не в микроскоп, вы найдете очень немного отличий. Что действительно есть в России — конечно, бурно растущий и слабо модернизированный Северный Кавказ. Кроме того, неизбежно, Россия должна стать открытой страной для иммиграции. Мое отношение к этому однозначно. Миграционное давление и привнесение элементов другого поведения в брачно-репродуктивной сфере, естественно, будут иметь место. Так же как с этим сталкивается Франция, к примеру, Германия, отчасти Великобритания. Если посмотреть, высокий уровень рождаемости, ранние браки и прочее сохраняются в среде, так скажем, выходцев из южных стран, не только мусульманских. И западные специалисты тоже отмечают: при длительном проживании в стране следующие поколения ведут себя более похожим на своих ровесников образом, чем на своих ро-

дителей. Да и демографическое поведение мигрантов в первом поколении уже не то, что в стране выхода. Стремление к интеграции в стране въезда существенно корректирует исходные установки, если они уже не были скорректированы к моменту принятия решения о смене страны проживания.

Кто-то, конечно, идет в авангарде демографических процессов. У нас авангардность Москвы, например, измеряется какими-то дюймами, но она есть. В чем она проявляется? Возрасты брачности и деторождения отодвигаются более интенсивно. Но одновременно интенсивнее вступают в браки люди старше 25 лет, уровень рождаемости здесь выше, чем в среднем по стране, потому что стали рожать те, кто был затронут переходными процессами начала 90-х годов и откладывал рождение детей (в среднем на 5-7 лет). В действительности люди не хотят сейчас иметь только одного ребенка. Как хотели двоих, так и хотят. Ни одна страна не зафиксировала отказ от идеальной модели семьи: родители плюс мальчик и девочка. Все очень просто. Есть такие, кто говорит о крахе семьи, о крахе данной нормы детности, но еще ни разу не подкрепили это данными эмпирических исследований. Когда выдаются результаты опросов типа “Сколько вы хотели бы иметь детей?”, получают те же двое, и потом уже доли желающих иметь одного или не иметь детей вообще, таких совсем мало. И повторяю, что здесь мы ничем не отличаемся от развитых, с высокими доходами стран. Модель абсолютно такая же.

— *Вы говорите: освободившееся поколение. Прежде, в те же 60-е годы, имел большое значение моральный климат — осуждение внебрачных связей, побочных детей. Даже сам ребенок, рожденный вне брака и выросший в атмосфере осуждения, испытавший все это, не хотел идти по тому же пути, предпочитая порой одиночество. Это был крайне сдерживающий фактор. Нынешнее поколение освободилось и от такого давления? Сейчас есть увязка морали и новой модели поведения?*

— Многие и многие представители поколений наших бабушек и прабабушек значительную часть своей жизни

прожили в состоянии вдовства или в ожидании возвращения мужей — с фронта, или уехавших на многолетние заработки, или попавших “в места не столь отдаленные”. В то время очень осуждалось, если кто-то имел сожителя, даже если это вдова; как это называлось, “мы сошлись”, не организовали домохозяйство, а “сошлись” и вот живем. Но они же, эти поколения, вырастили детей, которые стали с легкостью разводиться. Опыт проживания в одиночестве в неполных семьях закрепился. Пример собственной матери говорил: да, это возможно. “Я тебя подняла одна, ну и черт с ним, с тем парнем, сама вырастишь ребенка”. Опыт, кстати, социально-негативный, но он воспроизвелся уже не как вынужденный, под давлением внешних обстоятельств (война и т. п.), а как конструктивный сценарий для собственной дочери, и потому мораль в данном случае менялась однозначно — толерантность к расширению спектра возможных моделей семейного и репродуктивного поведения человека.

И вот что сейчас происходит революционного: рождение ребенка вне брака или в незарегистрированном браке становится социальной нормой. Это следующий этап освобождения от традиционных представлений, как должна быть организована жизнь, в том числе семейная. И что интересно: нет ни одного серьезного, репрезентативного социологического исследования, которое специально хотело бы это прояснить. Сейчас каждый третий ребенок рождается в незарегистрированном браке. Каждый третий! А о нем до сих пор рассуждают как о маргинальном явлении, в терминах девиантного поведения девочек-подростков, не замечая, как быстро в этот процесс вовлеклись все возрастные группы и социальные страты.

— *Они чувствуют себя нормально?*

— Вот в том-то и штука: мы не знаем. Этот феномен уже дозрел до того, чтобы стать объектом пристального внимания. Не только демографов, которые даже не могут (так устроена статистика) выделить “в чистом виде” одиноких матерей. За последние 15–20 лет удельный вес тех детей, которых отцы признают (пишутся совместные заяв-

ления о регистрации новорожденных), резко увеличивается и уже достигает 50 процентов и выше. Короче говоря, каждый второй внебрачный ребенок признается отцами на добровольной основе. Но и остальные 50 процентов появились благодаря неким отношениям, про которые мы почти ничего сказать не можем. Традиционный внебрачный ребенок образца 70–80-х годов рожден на полюсах: юные мамы, которые вступили в половые отношения, секс был не защищен контрацептивами; и второй полюс — женщины “бальзаковского возраста”, которые рожают детей “для себя” (социальная норма была и продолжает быть очень жесткой — “женщина реализовать себя без детей не может”). Эта модель меняется в 90-х годах кардинальным образом, когда наблюдается интенсивный рост внебрачной рождаемости в самых бракоспособных возрастах, чего никогда не было. Речь уже не о полюсах возрастной шкалы матерей-одиночек, но о ее середине, она становится довольно ровной. Это результат решений, осознанно принимаемых, отношения которых нам неизвестны. А что с теми детьми? В каких условиях они растут? Испытывают ли ущербность, дискомфорт, недостаток в доходах, в образовании? Снижает ли это равенство возможностей при социализации? Мы ничего про это не знаем. Для западных социологов эта тема давно вышла из темы девиантного поведения и является одной из ведущих в социологии семьи. Есть когортная стадика, отслеживается, какие успехи делают эти дети (вплоть до поступления в вуз), как устраиваются в жизни. Это действительно новый феномен, новое явление. Абсолютно новая семья, если хотите. Я не могу оценивать, хорошо это или плохо. Но, безусловно, и в развитии самого процесса, и в степени его осознания мы идем с отставанием от западных стран примерно на 20–30 лет.

— *Вот вы говорите: само собой так отрегулировалось, такая-то складывается модель семьи и прочее. Стихийно? Или возможна коррекция социальных процессов? Тогда как и кто корректирует?*

— Гражданское общество — вот как раз способ воздействовать на социальную среду, отталкиваясь от персональ-

ных представлений о том, как должен быть устроен мир. И если набирается критическая масса считающих, что надо так-то, в конечном счете и происходит коррекция. Изначально достаточно стихийная, постепенно она обретает организованные формы. Я приведу конкретный пример. Изменение удельного веса пожилого населения в западных странах через какое-то время отразилось на направлении всех бюджетных и прочих трансфертных социальных потоков. Вы сейчас не найдете в Германии ни одного бедного пожилого человека, но увидите, что число бедных детей (даже в Германии) за последние 20 лет не изменилось. Процент прежний — при росте валового продукта, росте доходов и т. д. Просто потоки, распределяемые в обществе, пошли в ту сторону, которая была определена через электорат, институты гражданского общества, через то, каких политиков они поднимают и поддерживают. Это и есть коррекция социальной политики, хотя и в далеко не однозначном направлении. И берем конкретный пример из нашей российской практики. Когда предлагается увеличить пособия на третьего ребенка, сделать их весомыми в семейном бюджете, я всегда выступаю против. Почему? Объясню. Во-первых, это означает, что люди, имеющие меньшее число детей, будут платить тем, у кого их больше. Фактически — иная форма налога на бездетность. Ограничение элементарных прав и свобод. Кроме того, никакая социальная система не сможет определить, кому этот налог нужно платить, кому не нужно, кто не может иметь детей по объективным причинам, а кто не хочет. Значит, здесь уже есть неоднозначность. Во-вторых, предлагаемая мера показала свою неэффективность везде, где применялась, в странах гораздо более богатых, имеющих свободные ресурсы. У нас свободных ресурсов нет, и куда эффективнее направить средства на образование и здравоохранение, чем размазывать их по стране в виде крохотных пособий (сейчас это 70 рублей на ребенка). Это будет именно адресная помощь, ведь образование и здравоохранение в значительной степени служат тем семьям, которые имеют детей. В-третьих. Я не приемлю предлагаемый способ воздействия на людей и потому, что в нем есть что-то от купли-продажи. Вот государству по каким-то причинам

нужно “пушечное мясо”. Принимается в 1936 году закон о запрете абортов в Советском Союзе, но точно так же поступили Гитлер в Германии (в 1932 году запретил аборты), Муссолини в Италии чуть раньше. Одного поля ягоды. Способ увеличения рождаемости, кстати, совершенно неэффективный, но здесь важна сама идея — “семья для государства”. Сейчас это экономический способ — через искусственное стимулирование (читай: “покупку” детей), но все время крутится та же идея, что дети нужны государству для решения таких-то его проблем (очень модно — в решении геополитических проблем). Россия вон как протянулась с севера на юг и с запада на восток, территорию надо осваивать, границы должен кто-то охранять. У нас тысяча километров вдоль Китая, а там живет миллиард с лишним, нужно оберегаться от китайцев. Я постоянно принимаю участие в обсуждении этой проблемы (действительно на серьезном уровне принятия решений, а не в Думе — многие считают, что социальная политика определяется в Думе), и вот только сейчас постепенно приходит осознание, что демографическим способом ее, по крайней мере в ближайшие 20–30 лет, не решить. Так, в частности, и армия обязательного призыва в перспективе абсолютно невозможна. Максимальный размер армии в мирное время, который Россия может себе позволить и демографически, и экономически, не больше 400–500 тысяч человек, хотя военные и некоторые официальные лица продолжают настаивать чуть ли не на миллионной армии. Так что “покупка” детей неприемлема с морально-этической и бесполезна с геополитической точки зрения, если речь идет о решении насущных проблем в обозримой перспективе. Рожденные завтра дети еще вырасти должны!

Самое главное, что “купля-продажа” детей ненадежна как стратегическая система. Меняются политические интересы, экономические условия. С чем столкнулись и Советский Союз, и другие страны (в том числе Чехия, Венгрия), когда вводили мероприятия по стимулированию рождаемости? Вначале это оборачивается переполненностью детских дошкольных заведений, школ, поликлиник, высокими конкурсами в высшие учебные заведения, конкуренцией, безработицей и т. п. Такие вещи, к сожалению, не

учитываются при принятии политических решений. В конечном счете советская система рухнула, и в не последнюю очередь по причине непосильного бремени взятых государством социальных обязательств. Чем менее эффективна экономика, тем, как ни странно, больше раздается обещаний, процветает безответственный популизм. По одной простой причине: жизнь политика и принимаемых решений измеряется в годах, а для демографа протяженность изменений между реалиями — поколениями.

В рамках жизни одного поколения социальная, экономическая ситуация в стране действительно может меняться несколько раз, но брачное, репродуктивное поведение чаще всего задается во время социализации (до 15–17 лет) и потом воспроизводится на протяжении всей жизни. На переломных моментах истории — да, есть ощущение разрыва между поколениями, оно существенно. Но такого рода переломы происходят не так уж часто, и в общем-то мы дети своих родителей (“яблоко от яблони...”). Совершенно бессмысленно человеку в 18–20 лет вдальблывать какие-то ценности, которые он не приобрел к этому возрасту. Дальше уже работает приобретенный социальный опыт, который корректирует ожидания и намерения, но, как правило, не принципиальным образом. Можно, к примеру, взять поколения родившихся в первой половине 1970-х годов. Их надо изучать, потому что представления этих людей о браке, семье, детях, уровне образования, сфере деятельности уже присутствуют, структурированы, взвешены на шкале ценностей и уже реализуются. А через три и еще раз через три года вернуться к этим поколениям, когда они шишек набьют, когда станет ясно, как они эту свою матрицу ценностей и ожиданий смогли применить в реальной жизни. У нас, кстати, проводится очень мало когортных, перспективных, панельных обследований, а в странах с развитой демографией это один из ведущих инструментов изучения демографического поведения, эволюции семьи и рождаемости. Мы сейчас делаем все возможное, чтобы Россия была участницей большого международного проекта (участвуют два десятка стран) по изучению взаимодействия поколений в семье и в обществе. Если все сложится удачно, то это будет беспрецедентное для нашей

страны обследование, и по объему выборки, и по величине вопросника, и по методике (главный вопрос, который труднее всего решается, естественно, финансовый — обследование очень дорогое).

— *Сергей Владимирович, а у нас действительно катастрофа с народонаселением? Намного больше надо народа, чем есть сейчас?*

— Если мы с такой легкостью губим жизни в Чечне, это говорит о том, что общество не знает, сколько нам нужно людей. Молодых, здоровых. А когда говорят, что нужно осваивать какие-то просторы, можно подумать, что их интенсивно осваивали раньше, когда демографический ресурс был совсем иной — в 60-е или, допустим, в 70-е годы. Да, тогда была последняя возможность заселять, даже и не заселять, а вахтовым методом осваивать, наращивать добычу природных ископаемых чисто экстенсивным путем. Сейчас, конечно, такой возможности нет. Лужков сегодня вновь обращается к идее переброски северных рек, и это подтверждает: у людей нет представления, что мы живем в другом демографическом измерении, с другим потенциалом людских ресурсов. Кто будет рыть те самые котлованы (не упоминая уже обо всех других вещах)? Говорят: там (надо думать, в Азии) излишки рабочей силы, и, вместо того, чтобы направлять мигрантов в Москву, дать им дело на месте — рыть тот великий канал. Но это уже было реализовано во времена Сталина: оградить котлован еще и колючей проволокой. На фронте этого освоения (Дальнего Востока, Сибири, Севера), вы прекрасно знаете, были зеки, зеки и зеки, по разным причинам оказавшиеся там. Освоение шло в результате насильственной миграции (я уж не говорю о депортации целых народов). Не будем же мы этот подход сохранять на будущее.

Нам нужно увеличение численности населения, безусловно. Россия во все времена страдала от несоответствия территории и демографического потенциала. Эта проблема тесно увязана с проблемой конфликта Севера и Юга, которая присутствует и на глобальном уровне. И пропуская ее через себя, Россия должна идти в фарватере того, как

данную проблему пытаются осмыслить и решать развитые страны и на международном уровне. Доморощенных вещей здесь быть не должно, это очень серьезно в свете интеграции России в международное пространство. Без общих рынков труда, без рынка капитала, без переливания из одной страны в другую свободного капитала, людей, денег и вещей — невозможно. Современный мир идет к этому, уже давно задыхаясь в национальных рамках. Кризис государств, построенных на этническом принципе, в определенных границах, обозначился четко. Более эффективна система построения общества не на национальном признаке, а на идее гражданства. Во всех смыслах — и вертикальной мобильности, и горизонтальной. К сожалению, нам в наследство от СССР досталась федерация национальных образований. Есть иные федеральные системы, скажем, германская федерация, где каждая земля обладает куда большим суверенитетом, чем наши национальные республики. В США реальная жизнь людей в гораздо большей степени зависит от мэра города, от того, кого они избрали в управление штатом, направили в сенат, чем от федерального законодательства. Жизнь локализуется в данном случае, и это правильно. России придется в ближайшие десятилетия перенимать такой опыт, иначе мы просто не выберемся из существующего противоречия. Но в принципе, теоретически, национальные рамки мешают дальнейшему развитию, и все это будет обрушаться, чем дальше, тем больше. Конечно, в этой связи и конфликт — как отражение противостояния Севера и Юга. Частично и как конфликт цивилизаций. Исходное, конечно, — колониальное прошлое и медленная модернизация южных стран. И базовый момент, безусловно, — демографический фактор, демографический взрыв, как принято его называть. Север пережил демографический переход на 100-200 лет раньше Юга. Все революции, конфликты возникают на гребне демографических волн, когда есть масса молодых людей, уже не имеющих достаточно жестко структурированных представлений о ценностях. Они легко могут изменяться под воздействием идеологии, политики, обстоятельств. В связи с этим, конечно, никаких революций в мире Севера, в том числе и в нашей стране, ждать не приходится (просто нет

достаточного числа носителей революционного начала). Но, скажем, близкий нам среднеазиатский регион бурлит именно от избытка демографических ресурсов, от проблем, связанных с самоидентификацией, национальным самосознанием, обретением традиционных ценностей, чего он был лишен в советское время. Не знаю, сколько десятилетий потребуется для решения такого рода проблем, и форма разрешения конфликта может быть разной. Думаю, силовой путь, к которому США подталкивает развитые страны и Россию в том числе, далеко не самый эффективный в долгосрочной перспективе. Третья мировая война не означает, что будут говорить только пушки, она отражается и на средствах массовой информации, и на самих людях. Разделение мира ощущается даже там, где открытого конфликта нет. Я помню, как в некоторых европейских странах ликовали, когда арабские камикадзе обрушили самолеты на здания Центра международной торговли. Кризис международный, и он вызревал несколько десятилетий. Очень серьезная проблема XXI века. И если в данном контексте говорить о месте, роли России, то мы пока — как экономическая, демографическая единица этого мира — не можем играть столь серьезную роль, какая представлялась бы возможной. Думаю, мы и интеллектуально к тому не готовы, и, честно говоря, пока не вижу политиков, способных предложить достойные идеи, решения...

— *А ученые?*

— Ученые никогда не занимаются политикой, а политики никогда не берут идеи из ученой среды. На удивление это так. Потому что любая идея, которая противоречит обыденным представлениям, — а очень часто в науке именно такие идеи наиболее ценны и потом оправдываются прогностически, — не воспринимается политиком. Он опирается на обыденное сознание и сам есть это обыденное сознание. Я не верю, что хороший ученый может быть хорошим политиком, и наоборот.

— *А можно ли оставаться вне политики, будучи ученым, изучающим социальную сферу? Вы чувствуете се-*

бя востребованным, Сергей Владимирович? И как вы сами рассматриваете вашу исследовательскую деятельность с точки зрения ее креативности?

— Мне повезло, что я не испытываю никаких проблем с работой. Не испытываю проблем и в материальном смысле. В принципе тех, кто работает в нашей области, кто остался здесь, пережив особенно трудные 91-92-й годы, не так много — максимум два десятка, способных просто понять суть дела. Мы востребованы именно в силу дефицита профессионалов, фундаментальная демография — очень узкая специальность. Повезло и в том, что в нашем поколении весьма весома доля узнавших не понаслышке, как устроен мир. Мое, например, представление о самом существовании советской науки, российской науки очень изменилось. Сейчас я считаю, что если советская еще и существовала (в форме весьма специфической схоластики), то вот российской не существует, — не потому, что все ученые уехали, что ей не хватает молодежи для воспроизводства, не хватает средств и умений (все это имеет место), а потому, что она может существовать только глубоко интегрированной в мировую науку. По крайней мере, что касается демографии. Вот с физиками не знаю (хотя язык формул, математический язык вообще универсален). Но демография, конечно, глубоко интегрирована, и когда я работаю за письменным столом, то одновременно вижу перед глазами не только своих российских, но и зарубежных коллег и читателей (мы имеем контакты практически во всех европейских странах и в Америке). Интеграция в это пространство дает возможность реально почувствовать, что и для чего делается. Возможно, в сегодняшней России мы становимся более втянутыми в политику, потому что обострились демографические проблемы, став настолько политическими, что через эту тему оценивается деятельность правителей, правительств и т. д.

Ельцин попал под возможный импичмент по статье “за геноцид русского народа”. Если посмотреть, что понималось под “геноцидом”, то первым пунктом значится “депопуляция”. Я был поражен, когда в Думе за этот пункт голосовали люди, к которым я относился с большим уваже-

нием как к интеллектуалам. Ясно было, что идет политическая игра. Но одно то, что люди думают: пришел Ельцин и устроил депопуляцию, а вот при Путине депопуляции не будет... Могу сказать, что придет после Путина Путин 2, а потом Иванов, Петров, Сидоров, но до 2050 года нам депопуляции, вероятнее всего, не избежать при любом, самом высоком экономическом росте... Почему до 2050-го? Потому что это длина двух поколений и демографическая инерция на таком отрезке времени едва ли преодолима.

— *Есть темы (или проблемы), над которыми вы постоянно размышляете, и все же они остаются загадкой?*

— Действительно, есть уникальная составляющая, выделяющая Россию не просто среди развитых стран, а в мире. В истории не было прецедентов, чтобы на протяжении трех-четырёх десятилетий уменьшалась ожидаемая продолжительность жизни. Справедливо говорят, что сейчас у нас крайне высока смертность населения. Но ключ к раскрытию этой проблемы лежит не в последних годах, а в 60-70-х. Именно тогда пошел процесс. Почему? Уже не было репрессий, голода, больших войн, казалось бы, было только улучшение условий жизни — количество метров жилья на душу, воды, которую можно пить, потребляемого мяса, теплых туалетов... Особенно после того, как стали швырять на этот рынок, затыкая дыры, нефтедоллары. Тем не менее смертность увеличивалась.

Если говорить о том, над чем мы бьемся, но так пока и не знаем ответа, то я назвал бы этот вопрос. Есть загадки, которые специалист, если он профессионально работает, должен разгадывать. Не только те, которые он сам придумывает для себя (бывают и такие темы), но и те, которые идут от реальности. Одна из них — рост смертности в СССР в 60–70-е годы.

Вторая проблема, над которой я лично много работаю. Россия сейчас в стадии второго демографического перехода. Будет ли она идти по пути, который в свое время избрали Соединенные Штаты или Франция? Встала она уже на этот путь и процесс продолжается или нет? Вот ребусы, над которыми приходится ломать голову, как всегда в ус-

ловиях недостатка информации, финансовых ресурсов и всего остального. Цифры часто обманчивы, потому что ростки нового всегда очень плохо видны. Если я замечаю какой-то росток нового явления, то беру его на заметку, отслеживаю его жизнь. Стараюсь не затоптать невзвешенными, чисто эмоциональными оценками...

Что вообще положительного, с моей точки зрения, произошло в демографической реальности с 91-го года? Это очень важно. Что-то ведь есть положительное. Да, есть: снижение численности абортотворцев в 2 раза. Причем с опережением такого снижения у молодых. Что за этим? Значит, происходит контрацептивная революция в России, в которую иногда плохо верится (недостаток данных). Следовательно, полезна работа ассоциации планирования семьи (которую в чем только ни обвиняют). Наконец, это говорит о том, что люди сами решают свои проблемы. Рожать, не рожать, делать аборт — проблема индивидуального выбора. То, что мы сейчас наблюдаем, — росток, превратившийся в достаточно серьезный тростник, бамбук, который уже не поломать.

Появились данные мониторинга: у молодого поколения меняется структура потребления алкоголя, и, в принципе, оно чуть снижается. Росток маленький, едва заметный. Хотелось бы понаблюдать за ним два-три года, чтобы понять, насколько устойчивой окажется тенденция. И если это действительно так, что молодежь меняет свое поведение по отношению к потреблению алкоголя, то можно будет ожидать изменения положения со смертностью в стране. Снижения алкоголизации среди молодых поколений, кстати, можно ожидать, принимая во внимание резкое повышение тяги к высшему образованию, отмечаемое социологами и фиксируемое статистикой. Пока новые времена здесь не наступили и эффекта в виде снижения смертности мы не видим. Но если бы смертность населения в России в целом была такая же, как у россиян с высшим образованием, мы бы не отличались по этому показателю, скажем, от Франции. Дело в отношении к своему здоровью, в осознании причин, его подрывающих, в том числе вредных привычек. Можно считать, что проблема сверхвысокой смертности в нашей стране — это в первую очередь

проблема людей с невысоким, со средним общим образованием. В том, как они используют время рабочее и свободное, думаю, главный ключ к ее пониманию.

Поскольку последние два года особенно интенсивно я занимаюсь переводом всей демографической истории со шкалы календарного времени в шкалу поколений (и возрастных изменений в каждом поколении), то могу высказать предположение: ситуацию в российской смертности, и именно с 60-х годов, в значительной степени определяют наиболее ущербные поколения. Те, кто пережил социальные катаклизмы и голод в детстве, прошел социализацию в состоянии сиротства и бедности. Если вы отнимете от 2003 года 60 лет (ожидаемая продолжительность жизни), то попадете в военное время. Когорты, которые появлялись на свет в тяжелейшие 30-е, 40-е, 50-е годы, сейчас и определяют повышенную смертность в зрелых, предпенсионных и пенсионных возрастах. Это пока гипотеза, но она имеет под собой основания.

— *А что касается смертности в других, молодых возрастах?*

— У нас во всех возрастах смертность слишком высока, чтобы Россию считать развитой страной, особенно это касается мужчин. Правда, смертность 12–15-летних сейчас ниже, чем десять лет назад. У 20-летних она выше за счет Чечни, а у 30-летних уже начинаются те самые специфические российские проблемы. Если человеческую жизнь разбить на возрастные этапы, то первый, ранний, ее этап зависит скорее от родителей и отчасти от эффективности системы здравоохранения. Срабатывают генетические и прочие факторы, связанные с внутриутробным развитием. Потом смертность выходит на минимум, потому что самые слабые отсеялись в результате естественного отбора, еще минимально отрицательное социальное воздействие и нет еще опыта саморазрушительного поведения как такового (до наступления подросткового возраста). Затем начинается выход из строя “социально” слабых, неудачно вошедших во взрослую жизнь, которые не смогли найти себя в этом мире (смертность от травм, среди алкоголиков, нар-

команов и т. д.). Средняя продолжительность жизни алкоголика — 45–47 лет. Они выбывают. Вот это выбытие у нас очень высокое. Потом поколения переходят в следующую фазу, когда уже люди погибают от хронических болезней, накопленных в течение жизни, — сердечно-сосудистых заболеваний в первую очередь, отчасти онкологических и прочих дегенеративных. В самых старших возрастах влияние генетического фактора вновь становится сильнее. Другое дело, что современная цивилизация может ослаблять это влияние, броня цивилизации наращивается. Но в нашей стране эта броня остается очень слабой. Это еще одно объяснение повышенной смертности: не смогли нейтрализовать отрицательные последствия социальных катаклизмов, исторических событий, техногенного воздействия среды. Оказались не эффективны ни здравоохранение, ни политика в области здоровья, ни общественный контроль. А выход один: наращивание инвестиций, в том числе личных, и в здравоохранение, и в сферу досуга, здорового образа жизни, образования. Нужны ведь не только аппарат гемодиализа, который продлевает жизнь почечным больным, не только томограф для ранней диагностики раковых заболеваний, но и диета, витаминизация, рационально организованный досуг.

— *Известный экономист, директор одного из наших солидных институтов десятилетиями доказывал, что “здоровье нации” должно быть главным экономическим показателем.*

— Да, безусловно, хотя и не совсем ясно, какими показателями измерять “здоровье нации”. В любом случае показатели долголетия — очень важный критерий оценки общества как безопасного для жизни. Дискуссии по безопасности чаще ведутся в терминах оборонных, военно-экономических, криминогенности. Но при этом забывают об элементарных вещах: безопасность жизни человека еще и в самой обычной жизни. В какой мере комфортна среда его обитания. У нас гибель людей на автодорогах — 40 тысяч в год. Смертность от транспортного травматизма в сельской (!) местности выше, чем в городах (сказывают-

ся и пьянство, и практическая недоступность современной медицинской помощи). Мы еще не достигли западного уровня автомобилизации, а по уровню смертности намного превышаем все мыслимые стандарты.

— *Есть какая-то центральная проблема, ухватившись за которую, как нас учили, можно...*

— Конечно. Это проблема ценности человеческой жизни. Центральная проблема.

— *Сбережение народа, как говорил в свое время граф Шувалов.*

— “Сбережение народа” — значит уже родившихся людей. Но это еще и ценность будущих жизней, о чем нельзя не думать. Основная масса преступлений в нашей стране — это не заказные убийства, о которых больше всего говорят: 70 процентов — на бытовой почве (сосед зарезал соседа, жена мужа, сын отца). Считается, что сейчас вообще снижается ценность человеческой жизни. Это не совсем так. Люди все больше средств вкладывают в собственное здоровье, перераспределяют социальные средства в пользу жизни. Я отмечаю для себя, как ведут боевые действия американцы (ни в коем случае их не оправдываю, мне кажется, это совершенно тупиковый путь решения мировых проблем). Но миллион долларов, вложенных в “Томагавк”, расценивают ниже жизни солдата. У нас, к сожалению, все пока не так. Не случайно матери не отпускают своих детей в армию. Если российский человек будет задумываться над тем, что от него зависит его собственное благополучие и благополучие семьи, возможность добиться того, чего он хочет, — это даст толчок к росту ценности собственной и чужой жизни. И общество рано или поздно будет тоже модифицироваться. Законодательные органы, Дума станут отсекают экстремальные инициативы (это в каком-то смысле уже происходит), которые противоречат главной идее.

— *Мы с вами пришли к тому, чем обычно и завершаются такого рода дискуссии: пока человек не будет в*

центре... И когда, по вашему мнению, это может произойти? И произойдет ли?

— Это уже происходит. Но только не по велению сверху человека надо поставить в центр и вокруг него создать этот мир. Он сам должен его создавать. Наше поколение и то, что сейчас на подходе, уже работают на себя. С полным осознанием: у меня есть родители, есть дети, я должен оплачивать их достойную жизнь, их образование. Это мое. Я езжу на машине, покупаю квартиру, никто, кроме меня, этим не обеспечит. В том-то вся и штука. То, что раньше осмеивалось как “потребительство”. Вот вам смена парадигм.

— *И все же остается вопрос: а жизнь вокруг, а общественные условия, при которых и можно обеспечить “квартиру–машину–дачу”? Трудно поверить, что для вашего поколения — это звук пустой.*

— Чем более отдалается “светлое будущее” — уже какое поколение его ждет, — тем больше оно теряет четкие очертания. Мне кажется, что гораздо важнее конкретные очертания собственной жизни, чтобы понять, ради какого “светлого будущего” ты работаешь. Когда-то из одной молодежной газеты (я тогда был молодым младшим научным сотрудником) мне притащили мешок с письмами: “Посмотри, почитай и сделай обзор”. Газета опубликовала два письма на тему, которой я занимался (о числе детей в семье), и вдруг последовала бурная реакция. Писали люди разных возрастов, в том числе и об этом “светлом будущем”. Хорошо помню одно письмо: мы вот все что-то строим, строим, но я не могу понять, почему в нашем городе никогда не продавали мяса в магазине. Это город Оренбург, я его немного знаю по рассказам родственников. Там действительно карточная система была вплоть до 80-х годов. При их огромных мясокомбинатах и стадах (и, соответственно, “несуны” пополняли запасы мяса у людей в холодильниках). Я не о том, хорошо это или плохо — иметь совершенно абстрактный идеал. Но в конечном-то счете мессианство, столь характерное для Советского Союза как идея, приносило гораздо больше вреда, чем поль-

зы. Самый обычный человек, обыватель, живет ради самого себя. Всегда так было. Другое дело, что он клал свою жизнь на алтарь разных исторических событий, имея в голове разные мысли. Одного толкали, другой сам амбразуру закрывал... Есть, конечно, и сейчас такого же рода идеи, но они, на мой взгляд, для России уже не очень актуальны. Идея мессианства, которой сегодня озабочены Соединенные Штаты, мне глубоко не близка, как была не близка и идея мессианства Советского Союза. Так же, кстати, как мне чуждо суждение, что люди у нас станут сугубо эгоистичными, способными думать только о своем благополучии — и никакого общественного блага не будет. Я видел общество, где, по нашим понятиям, живут эгоисты, но, извините, там подъезды чистые (мне пришлось достаточно долго прожить во Франции и бывать во многих других странах). И не потому, что там убирают (хотя и это делается), а потому, что там не сорят в доме, где живут, и не оставляют мусор на лужайке, где устраивали пикник. Кто-то правильно заметил, что по чистоте туалетов можно судить о прогрессе.

Я согласен, что здоровье нации (популяционное здоровье) — ценность. Но это не может быть той социальной идеей, о которой мы говорим, потому что оно должно достигаться через материально-вещественный мир, осязаемый для каждого человека. Важно, чтобы там были положительные сдвиги, совершенные собственными руками “маленького” человека.

— Но вы что-то для этого можете сделать?

— Конечно. В том-то и штука, что сейчас люди в большей степени организуют свое собственное пространство. Это не означает, что все получается так, как мне, допустим, представляется правильным. У каждого человека есть свои представления на этот счет, и из миллионов тех микроидей главная идея — жить нормально. Она для России сейчас гораздо более актуальна, чем некая абстрактная идея. Под нормальной жизнью понимаются просто стандарты, которые уже сегодня можно соизмерять конкретно. Вот молодой исследователь уезжает на Запад работать, он

уже более реально оценивает стоимость своей рабочей силы, а значит, и ценность своей жизни, между прочим. Возможно, вы знакомы с данными опросов общественного мнения о том, какой доход люди считали бы для себя достаточным (для нормальной жизни). Уровень притязаний в России низкий до невероятности. Из исследования в исследовании он ровно в 2 раза выше собственного дохода. Человек имеет две тысячи рублей дохода, значит, пишет четыре, имеет четыре, пишет восемь и т. д. Цифры могут быть разными, но соотношения те же (при обследовании среднего класса это соотношение составило 1: 2,5). В рамках таких притязаний организовать то самое пространство еще нельзя. Люди продолжают низко, по-советски, оценивать свои способности и возможности, поэтому у нас такие неэластичные рынки труда. Многие согласны трудиться за малую зарплату. Миграция рабочей силы между регионами очень низка. Мы пишем в своих докладах, что если в советское время сильная межрегиональная миграция стимулировалась в основном теми, кто ехал получать образование, то теперь этот механизм несколько подрубился. Не исходит импульс от самого человека: если у него такой уровень притязаний, то он и не поедет искать лучшую долю в другом месте. А это должно быть. У нас, с одной стороны, безработицы как бы и нет, а с другой — очень высокая. И не то, и не се. Что это за рынок труда, где человек числится на рабочем месте, а зарплату не получает либо получает очень низкую и при этом подрабатывает (получая в несколько раз больше, чем на “основном” месте), а может, еще где-то числится как безработный и получает пособие. Это означает, во-первых, что общество не предоставило ему какие-то возможности. Действительно так. Но главное зарыто в нем самом. Политика занятости, создания новых рабочих мест должна быть безусловно, особенно по отношению к выпускникам высших учебных заведений. Но по отношению к здоровому 30-летнему мужику?.. Этого я не понимаю. Есть группы (и их немало), которыми государство на самом деле должно серьезно заниматься. Инвалиды, например, обитатели интернатных учреждений, детских домов. Так сконцентрируйте внимание и средства на этих участках. Обеспечьте достойную

жизнь этим людям, чтобы хотя бы как-то выравнять их стартовые возможности. А когда человек только родился и его бросили? Несколько тысяч ежегодно. Другое дело, что это было и в советское время: чем больше лишенные родительских прав отказники говорили о детях — “цветах жизни”, тем больше увеличивалось число дошкольных учреждений интернатного типа. Вот та самая ценность человеческой жизни. Эти дети только и зависят от государства, больше ни от кого (ну, еще от спонсорской помощи). Это не та проблема, которая стоит очень больших денег, но нужна политическая воля. И еще один грустный момент: у нас не находится людей, чтобы взять таких детей на воспитание, особенно не очень здоровых. Социализм, невзирая на все лозунги и “самые лучшие в мире конституции”, совершенно вытер из души гуманизм и сострадание.

— *Последний вопрос: откуда тогда у вас оптимизм?*

— Я вижу изменения и не ощущаю в себе комплекса неполноценности. Есть у меня проблемы с “идеологическими противниками”, но ведь это нормально. Я делаю то, что кому-то нужно. Потом и решение собственно научных задач, худо-бедно, удается. Если бы это не удавалось, то, может быть, не было бы и другого рода востребованности и всего остального. Думаю, что у нас в стране все-таки наступает эпоха профессионалов. По крайней мере, в моем поколении в большей степени востребованы именно профессионалы. Оказывается, их очень мало. В любой сфере. У нас вакуум с воспроизводством профессионалов — это одна из серьезных проблем вообще в российском научном мире, не только в демографии. Все отмечают, что хороший молодой человек, окончивший хорошее учебное заведение, сделавший хорошую магистерскую работу, идет в бизнес или еще куда-то. По понятным причинам, время ожидания, чтобы проявить себя и выйти на достойный уровень доходов от науки, он должен как-то прожить. Наука это обеспечить не может. Это потом окупится. Он докажет своими работами. Он кусок того пирога все больше будет нарезать в свою пользу. Тем более, что такой интенсивности труда, как сейчас, раньше не наблюдалось. Исто-

рическое время “сжимается” и в этом смысле тоже. Но общий объем времени расширяется. Человек более интенсивно живет все большее время. И он уже не должен останавливаться ни в 60, ни в 70 лет. Люди, забудьте о пенсиях! Я все время говорю: мы должны теперь сами думать о собственных пенсиях. Каждый. Мы первое поколение, которое будет об этом думать. О пенсиях как о деньгах. Но не о пенсиях как некоем расслаблении. Сам выход на пенсию — это сразу падение в бездну.

— *Сил не хватает.*

— *Хватит.*

Н.В. Мкртчян Нужны стране мигранты или нет?

— *Одна из масштабных проблем современного мира — проблема миграции. Вы, Никита Владимирович, занимаетесь ею профессионально. Какие ее характеристики вы выделяете для России? Какие решения вам представляются перспективными с учетом явно выраженной настроенности населения против “чужих”?*

— Несомненно, миграционные процессы в мире приобретают все более массовый характер. Говорят уже о формировании нации мигрантов (это появилось и в нашей научной литературе). Выделяют ряд центров притяжения — США, страны Западной Европы, Персидского залива, Японию, Австралию. И, в принципе, одним из таких центров (и на достаточно долгий срок) сейчас становится Россия, однако для вполне определенной группы стран. Это прежде всего бывшие советские республики, а также такие страны, как Вьетнам, Корея, Афганистан, Китай. Хотя нельзя сказать, что Россия для Китая — единственный центр притяжения. Но если даже очень небольшой поток китайцев направится к нам, уже будет много. Это как, например, наша торговля с Китаем: для России он — один из основных внешнеторговых партнеров, главным образом для Дальнего Востока, ну а мы для Китая — партнер весьма незначительный, масштабы разные.

Отмечаемая тенденция, однако, неоднозначна, она как бы разнонаправленна. С одной стороны, глобализация, все больше людей живут за пределами стран, где они родились. Евросоюз, допустим, фактически снял барьеры для свободного передвижения населения соседних стран. Но одновременно усиливается охрана внешних границ Евро-

союза. Уже появилась и такая идея (“план Бланкета”): зачем, говорят, беженцам или каким-либо лицам, ищущим убежище, ехать сразу в Западную Европу, когда существуют другие безопасные страны — Россия, Украина, — где содержать мигрантов гораздо проще. И пытаются этот план внедрить, начинают строить лагеря для приема беженцев из третьих стран (Ирака, Индии, Пакистана). Некий такой “отстойник” за пределами Евросоюза, а сама его территория — как бы для избранных. Создавая подобную зону и зону свободного перемещения людей, приняв в Евросоюз еще ряд стран, западноевропейцы меняют ориентацию и в удовлетворении собственных потребностей в рабочей силе. Допустим, Франция всегда брала ее из Алжира, Германия — из Турции. Теперь появляется новый источник — Восточная Европа, имеющий свои преимущества: понятное дело, у немцев с поляками меньшая культурная дистанция, чем с теми же турками, им легче ужиться, как и с литовцами и даже с нами. В каком-нибудь эшелоне будут Россия, Украина, Белоруссия. Проще “разбавлять себя” ближними народами. А делать это придется, без трудовой миграции и миграции на постоянное место жительства странам Евросоюза не обойтись. Боюсь, стало банальностью повторять, что население Европы (как и России) будет сокращаться, оно будет стареть; потребуется каким-то образом заполнять образующиеся демографические пробелы. Естественно, за счет миграции, потому что никакого подъема рождаемости хотя бы до уровня простого воспроизводства населения ни в одной из европейских стран не предвидится (по крайней мере, в обозримой перспективе). Это объективная характеристика современной ситуации. Но в последнее время, повторю, все более очевидно стремление закрыться от мигрантов. Принимаются сугубо полицейские ограничительные меры. В США появляется список стран (в основном исламских, арабских), в отношении которых действует особый визовый режим. Кому-то визы вообще не дают. То же самое происходит в Европе — естественно, в целях безопасности, как ее понимают. Боятся терактов, боятся этнически далекой миграции. Но мне кажется, это все-таки тенденция проходящая.

— *Вы не склонны оценивать события 11 сентября 2001 года в США и их последствия (в частности, и отмечаемую вами тенденцию) как проявления столкновения цивилизаций? Именно долговременного процесса, когда идет размежевание народов, религий, культур и копятся силы...*

— Для одновременного броска? Если, скажем, арабский мир будет развиваться автономно, вне Европы, и потом вдруг лет через сто бросится и поглотит ее? Нет, думаю, мир все-таки станет развиваться более мягко. И Европа через сто лет не будет той же, что сейчас. Равно как сейчас она не такая, как в начале XX века. Наверное, все-таки это процесс постепенный. По моему убеждению, в тех же арабских странах внутренних противоречий несколько не меньше, чем у каждой из них со странами Запада. Я с трудом представляю себе, например, всемирный халифат от Марокко и примерно до Ирака — если брать арабские страны, и до Индонезии — если брать исламские страны. Такой вот исламский пояс, где совершенно разные интересы, разное развитие. И им объединиться, представить из себя нечто целостное, мне кажется, гораздо сложнее, чем Европе. И, кстати, я вовсе не уверен, что сама Европа будет единой и неделимой в политическом смысле. Уже события в Ираке показали различие позиций Германии и Франции, с одной стороны, и новых кандидатов в члены Евросоюза — с другой. Великобритания четко проявила себя как сторонник США. Кто-то всегда остается нейтральным. Поэтому скорее всего, я думаю, будут выстраиваться некие двусторонние отношения. Ведь практически каждая страна западного мира, потенциально нуждаясь в мигрантах, уже имеет такие особые отношения, чаще всего, с бывшими колониями. Те же, у кого не было колоний, — с приграничными странами, скажем “третьего мира”, миграционными донорами. Испания, например, и сейчас проводит политику на упрощение иммиграции из стран Латинской Америки (ведь это все испаноязычные страны). Естественно, Португалия вполне может обойтись ресурсами Бразилии, здесь тоже нет языковых барьеров. США имеют свое, что называется, “миграционное подбрюшье” в лице Мекси-

ки, островных стран Центральной Америки. И здесь в принципе уже сложились устойчивые каналы. Западная Европа сольется с Восточной, появится, как я уже говорил, движение с Востока на Запад — еще один новый миграционный поток.

— *А сами страны Восточной Европы? А Россия? У них те же “демографические пробелы”. Откуда к ним придет миграционный поток? Или действительно можно рассчитывать лишь на тот самый “отстойник” в преддверии Евросоюза?*

— Возможно, часть нашего населения отправится в страны Европы. Посмотрите, сколько людей уже сейчас ездят работать в Чехию, Германию или живут там. А что касается притока населения к нам, в Россию, то на страны Прибалтики, естественно, не приходится рассчитывать (уже в силу их масштабов). Украина? Она в принципе скоро сама будет нуждаться в мигрантах, демографическая ситуация у нее еще хуже. Во времена бывшего Советского Союза привлекательно было поселиться на Украине: хорошие природные условия, достаточно обустроенная территория. Когда-то, возможно, она будет иметь с Россией положительный баланс — все зависит от развития экономики. Но стабильным миграционным донором Украина для России не станет. Эту роль могут играть либо страны Закавказья, либо страны Центральной Азии. Те многомиллионные масштабы китайского присутствия, о которых говорят, пока не предвидятся. Может, их и не будет, потому что самим китайцам более интересны для иммиграции США, Канада, страны Юго-Восточной Азии — вот туда и направлен основной поток мигрантов. Можно говорить о двух-трех миллионах китайцев, которые переселятся в нашу страну. Это небольшая доля в населении, в мигрантах, явно не преобладающая. И хотя это все же чревато для нас существенным нарушением демографического баланса, привлечь их откуда-то еще, например, из того же Закавказья, мы не сможем: там просто их не осталось.

Россия в принципе в самом ближайшем будущем должна определиться, откуда она станет брать мигрантов. Все, по

сути, уже определились. Но мы проводим какую-то странную политику. Россия является правопреемницей бывшего СССР. Объявили об этом в свое время, стали принимать население. Но сейчас закрываемся. И закрываемся как раз прежде всего от тех, кого нам не нужно обучать языку, культурно хотя бы ассимилировать (скажем, казахов или армян). Сейчас очень много разговоров, например, о том, что на российско-казахстанской границе казахов больше, чем русских, а это, мол, чревато отторжением какой-то части нашей территории. Я слышал, как Кондратенко в пору его губернаторства на Кубани говорил: “Вот мы сейчас благодушествуем, благодушествуем, потом сунемся к побережью, а там пулеметы стоят, там уже Великая Армения”...

Такова сегодняшняя ситуация у нас. И если ее не переломить, как бы нам не оказаться тридцатой, а то и ниже, страной в мире по численности населения. Мы привыкли, что Россия — большая страна. Но надо, как говорится, и обеспечивать населением свою территорию.

— *Как? В чем здесь может быть прорыв? Один из ваших коллег утверждает, что “Сибирь станет крупной ставкой в игре XXI века”. Вы придерживаетесь того же мнения?*

— Такого массового заселения Сибири, которое происходило в конце XIX — начале XX века быть не может, потому что у России для этого нет ресурсов. Раньше ведь оно обуславливалось чем? Малоземельем в центральных российских губерниях, которое с каждым годом нарастало, потому что население увеличивалось на 2–2,5 процента в год. Тогда, еще в конце XIX века, заселение шло добровольно, оно в значительной степени стимулировалось строительством Транссибирской магистрали. Помимо борьбы с малоземельем, правительство еще решало и геополитические задачи — просто заселение территорий, потому что Китай там и тогда был рядом, как и Япония, с которой потом воевали. Эту территорию надо было как-то колонизовать. Не случайно кто-то сказал, что колонизация успешна тогда, когда за воином идет пахарь. Не только военные поселения или казацьи остроги, но и мирный

сельский быт. Так складывалось реальное “освоение” Сибири. Сейчас подобной возможности нет. Российская деревня практически не имеет ресурсов, она даже не сможет поддерживать свою численность, тем более численность населения европейских городов (города России всегда росли главным образом за счет притока мигрантов). А все-таки рабочие руки и в городах европейской России всегда будут нужны. Откуда их брать?

Сейчас высказывается такое мнение: а давайте направим в Сибирь и на Дальний Восток тех, кто хочет вернуться в Россию из бывших союзных республик. Так и их на это не хватит! Если иммиграция не будет, как сейчас, “зажиматься”, этих ресурсов хватит только на то, чтобы поддержать численность населения в европейской части страны, и то лишь какое-то время, примерно на ближайшие 10 лет. Потому что потенциал русской и, как иногда говорят, “русскоязычной” миграции оттуда — максимум 4 миллиона. Самая большая русская диаспора — на Украине. Даже после прошедшей там переписи населения, согласно которой численность русских существенно сократилась, хотя никакого массового их отъезда не наблюдалось. А сокращение произошло за счет смены идентичности: в смешанных семьях раньше многие “записывались” русскими, теперь — украинцами. Но так или иначе Украина, как уже отмечалось, потока мигрантов нам не даст. Есть русская диаспора в Казахстане — но это сколько? Оттуда могут приехать максимум 1,5 миллиона человек. Остальные страны Средней Азии — бывшие советские республики — дадут, может быть, немного больше миллиона. В Закавказье уже практически нет русских. Так что наши потребности в мигрантах русские люди, живущие на постсоветском пространстве, в стратегической перспективе не обеспечат. Эти потребности значительно выше, потому мы должны смириться с тем, что к нам поедут нерусские (те же казахи, скажем, хотя им, конечно, еще свою территорию осваивать и осваивать, узбеки, таджики, азербайджанцы).

— *Как все же вы объясняете тот факт, что при всей необходимости привлечь мигрантов у нас принимаются законы, ограничивающие миграцию?*

— Потому что они исходят не из какой-то экономической целесообразности, а из некоего, как мне кажется, субъективного видения людей, которые эти законы проталкивают. Кто подсчитал, каковы наши перспективные потребности в трудовых ресурсах? Нет таких расчетов. Вы думаете, когда принимали Закон о правовом положении иностранных граждан — Концепцию миграционной политики, это имело серьезные обоснования? Я как-то был на семинаре, посвященном незаконной миграции, и там с большой радостью говорилось, что наши законы теперь соответствуют международным нормам. У нас прекрасный закон о гражданстве. И закон о положении иностранцев тоже прекрасный. Для того чтобы получить российское гражданство, надо пять лет. Да, это соответствует международным нормам, но сама Россия как страна не соответствует международным нормам, потому что это распавшаяся империя, случай достаточно уникальный в наше время. Мы не можем приравнять граждан бывшего Советского Союза к тем самым мексиканцам для США. Да и США постоянно проводят “миграционные амнистии”, последняя затронет примерно 8 миллионов человек. Ситуация у нас совершенно другая. Давайте преобразуем сейчас систему здравоохранения в полном соответствии со стандартами западных стран. Например, вызываете врача, и ваша страховая компания платит 500 долларов. Мы готовы это сделать? Не готовы. Мы готовы перевести наше жилищно-коммунальное хозяйство на те нормы обслуживания, на те стандарты оплаты, которые существуют там? Не готовы. И это всем ясно. А вот почему-то считается, что с гражданством, с миграцией можно поступать иначе: ввести универсальные прекрасные законы, и они будут у нас работать. Но ведь сейчас даже те люди, которые уже переехали в нашу страну, как-то устроились, где-то трудятся, не могут подать документы для получения гражданства. Многие и не знают, как это сделать. А если и пытаются, это превращается в какое-то постоянное просительство: сначала о том, чтобы иметь регистрацию, затем оформиться на 3 месяца, потом на 2 года, наконец, получить вид на жительство до 5 лет и т. д. И даже последние поправки к закону “О гражданстве”, столь часто упоминаемые в прессе, упрощают положение очень ограниченных категорий.

И это не просто бюрократические проволочки. У нас миграцией, как и всей данной проблематикой, занимаются специалисты правоохранительных органов, для которых в общем-то все население является потенциальными нарушителями правопорядка. И если милиция отвечает за концепцию миграционной политики, то она выше этого своего видения не прыгнет, и на первом плане в такой концепции — интерес ведомства, а не потребности людей и экономики страны. Пусть бы даже концепцию миграционной политики принимало другое ведомство (министерство труда), но ее все равно нельзя назвать полноценной. Разрабатывать такую политику, отвечать за нее должен, наверное, орган типа Совета безопасности, который способен оценить ситуацию со всех сторон, а не только с узковедомственной точки зрения. В нынешней Концепции миграционной политики хорошо прописаны меры борьбы с незаконной миграцией. Все по ступенечкам разложено. Может быть, это и действительно по отношению к злостным нарушителям, но не по отношению к людям, которые вынужденно являются незаконными мигрантами, потому что просто не имеют у нас возможности легализоваться.

Борьба с незаконной, злостной миграцией, конечно, нужна, но она не должна быть основной составляющей концепции миграционной политики. Главная же составляющая — стратегия, в первую очередь отвечающая на вопрос: нужны стране мигранты или нет? Сейчас такого на государственном уровне видения — нет. Есть две точки зрения: охранительная и либеральная. Охранители считают, что никого нам не нужно. Впрямь не говорится о “России для русских”, но суть та же: в России много народов, они здесь живут долгое время, чужих нам не надо, в общем-то обойдемся своими силами. Другая точка зрения — либеральная — предполагает примерно то, о чем я пытаюсь, быть может, не очень связно сказать. Эти две точки зрения — в постоянном противостоянии. Сейчас взяла верх охранительная стратегия. И люди, которые ее придерживаются, имеют возможность выражать свое видение в определенных законах, в тех или иных документах, принимаемых на государственном уровне. Возможно, потом начнет преобладать другая точка зрения, и мы опять будем

колебаться и колыхаться. Единой стратегии, продуманной хотя бы на два десятилетия вперед, у нас нет.

Что характерно: дискутировать вроде не о чем да и не с кем — все “за” увеличение численности населения. Президент как-то высказался в том плане, что было бы хорошо, если бы население России составляло 500 миллионов человек. Недавно подвели итоги последней переписи — нас 145,2 миллиона. Все-таки 145, а не 143, как предполагалось, и всеми признается, что это хорошо. Никто еще не сказал: ах, черт возьми! 145 миллионов, мы-то думали — 143, а если бы 140 — было бы еще лучше. Любого губернатора спросите: “Вы хотели бы, чтобы население вашего региона составляло не 5 миллионов, как сейчас, а, скажем, 2 миллиона человек?” — “Да нет, да что вы?!” У нас все меньше становится городов-миллионеров, уже Пермь потеряла такой статус, Ростов из этого “клуба миллионеров” выходит. Но только поинтересуйтесь — “нет, нет, мы сейчас посчитаем, всех мигрантов учтем, в том числе незаконных, будет у нас миллион”. И насчитывают в итоге. То есть цепляются за большое население. А Лужков как обрадовался, когда в Москве оказалось не 8 миллионов, а 10 с лишним...

— *Но само население, как известно, в основном против пополнения за счет мигрантов. Конфликт интересов везде, куда они приезжают. Мы можем не учитывать этого, идти вопреки общественным настроениям?*

— Даже когда заселялась Сибирь, для местных старожилов, которые привыкли, что справа и слева на пять километров нет никого, было неприемлемо, если кто-то вдруг поселится в километре от них. Ведь очень большие были столкновения между переселенцами и старожильческим населением Сибири. Никогда мигрантов не любили: как это, вторгаются в мой мир! Даже если это такой же русский, а если, паче чаяния, какой-нибудь “инородец” приедет, и еще говорит с акцентом ...

— *Мы сознательно идем на конфликт? Или считаем, что со временем ситуация переломится и все будет прекрасно? Та самая концепция миграционной политики*

должна, видимо, предполагать, кто именно нам нужен, какой культуры, какой специальности люди, где они могут жить, работать и т. д.

— Конечно, нужно продумывать такие вещи и искать, с чего я и начал, своих миграционных доноров — страны, которые в перспективе смогут давать нам миграционную подпитку. Станет ли, например, для нас такой страной Афганистан? Думаю, нет, в силу своих культурных традиций. Но речь ведь не только о массовых переселениях. В свое время, когда еще был Советский Союз, в Россию привезли афганских детей, родители которых погибли. К нам приехало афганское офицерство, воевавшее на нашей стороне, в основном люди образованные, которые учились у нас и хорошо относятся к России. Почему мы не принимаем их? Почему до сих пор им не дали гражданство, не помогли легализоваться? Вот это непонятно.

Американцы в свое время, воюя во Вьетнаме, имели поддержку группы местного населения — монгов. Так по окончании войны они всех их с семьями забрали с собой. То же самое сделали французы в отношении тех, кто поддерживал их в Алжире. Мы же нет, даже в отношении своих чеченцев, — ведь когда в конце 1994 года федеральные войска вошли в Чечню, то создали там свои структуры. Я раньше работал в миграционной службе России, и мы тоже организовали миграционную службу, где работали чеченцы. Как только были заключены Хасавюртские соглашения — ушли. А их оставили. Никто не озаботился, а что с ними будет, когда выведут войска? У руководителя нашей миграционной службы в Чечне (а я ведь дома у него был!) сына украли сразу же, как только туда вернулась дудаевская камарилья. Он вынужден был, собрав со всех родственников деньги, выкупать сына, потом уехал в Тульскую область, где-то там, в каком-то маленьком доме, в райцентре, обустроился. Это руководитель миграционной службы Чеченской республики, влиятельный человек, через него такие деньги шли в свое время... И мы просто так вот его бросили. То же самое произошло с афганцами. Приходишь к выводу, что Россия не способна ценить тех, кто является проводниками ее идей, ее культуры, просто

ее союзниками. Те же афганцы никогда не составят большой массы на территории России, но они могут составить небольшой компонент ее населения. Почему бы и нет? Если это люди, не согласные, скажем, с господством исламской идеологии, ведь и среди мусульманских народов есть прослойка неверующих, чисто светских людей.

Конечно, какой-то массовой миграции, когда движутся кишлаками, аулами, заселяют деревни, нам не нужно, и такого не будет. Пускай это будет небольшой ручеек, но постоянный. Допустим, почему мы не можем тех же афганцев, китайцев, индусов, пакистанцев брать себе на обучение? Канал учебной миграции используют все развитые страны. Может быть, обучать даже за их личный счет, а не за счет их стран. За время учебы они воспринимают наш язык, нашу культуру. Домой к себе возвращаются далеко не все, по крайней мере не больше половины. Очень много азиатов, африканцев и остаются у нас, и хотят остаться, но им не всегда это разрешают. А я не знаю, что лучше: если в городе живут 90 процентов русских и, к примеру, 10 процентов кавказцев или если это не 10 процентов кавказцев, а, допустим, 80 процентов русских и по проценту других двадцати народов, представляющих этническое разнообразие. Может, это будет более устойчивая структура?

— *Кто-нибудь интересовался, в какой момент у населения начинается фобия, отторжение мигрантов? Каков тут предельный порог?*

— Нет такого порога. Мы проводили специальное исследование по Приволжскому федеральному округу, выбрав три региона. Это Нижегородская область — этнически очень однородная, там более 85 процентов русских, много татар, других народов Поволжья, веками там живущих, то есть этнических россиян, и там нет и не было масштабной миграции (область находилась несколько на периферии миграционных потоков 90-х годов). Это Удмуртия — тоже закрытая в прошлом территория (Ижевск — город с крупной оборонкой). И наконец Оренбургская область — по ситуации 90-х годов “проходной двор”. Область, через которую поезда идут из Самары в Оренбург и

далее в Центральную Азию. В свое время я отслеживал все миграционные связи, у меня была диссертация по межрайонной миграции, и я выявлял зоны тяготения для каждой территории. Так вот у Оренбургской области практически не было интенсивных миграционных связей с другими российскими территориями, но был огромный миграционный приток из центрального и западного Казахстана, Узбекистана, вплоть до Таджикистана. Это была ее зона тяготения. Мигранты приезжали в Оренбург, далее они шли на Самару, которая имела схожие зоны миграционного тяготения. Это были “ворота” в Россию из Средней Азии. И всегда в Оренбурге, как бы ни складывалась ситуация в государствах Азии, определенная доля мигрантов оседала, потому что это первая остановка на их пути, а для кого-то — “самая ближняя Россия”. И всегда их здесь будет больше, чем на других территориях. Мы провели опрос об отношении населения к иммигрантам. И оказалось, что в Оренбургской области, где как раз инокультурных, “чужих” мигрантов больше, чем в Нижегородской области и Удмуртии, отношение к ним лучше. Здешнее население привыкло жить в таком “котле”, причем к казахам, к некоторым народам Центральной Азии отношение вообще как к своим. Кавказцы же, если приедут — это уже нечто другое. К ним отношение хуже. А вот если в Нижегородской области, допустим, появится даже небольшая прослойка казахов — да что вы, это просто какой-то наплыв “чужих”. Больше трех процентов — и уже начинаются фобии, страхи, погромы и т. д. Здесь все не так однозначно.

— *А миграционные потоки внутри страны за последнее время сильно изменились?*

— Достаточно кардинально.

— *У нас есть сейчас самодостаточные территории, какой, скажем, была Республика Чувашия, где прежде вербовали рабочую силу для других регионов?*

— Я бы не сказал, что она самодостаточная. Все-таки половина чувашей живет за пределами Чувашии, как и

большая часть татар живет за пределами Татарстана. Вспомним 90-е годы, подъем национализма в этих республиках и т. д. Но сейчас нет масштабного притока туда лиц коренной национальности. Идет очень небольшой приток татар, но если таким образом они будут стягиваться в Татарстан, это будет происходить на протяжении нескольких веков. За счет чего растет в республике число татар? За счет того, что из Средней Азии они едут в основном в Татарстан, как едут оттуда же и в тот же Татарстан русские — и в составе семей, и самостоятельно. Если жили здесь раньше в деревне или в городе, сюда и направляются. Идет возвратная миграция. А чтобы, допустим, татары вдруг в массовом порядке поехали из Саратовской области или Башкирии в Татарстан — такого нет. Подобного “собираения нации” в пределах Приволжского округа нами не отмечено. А мордва, например, до сих пор еще выезжает, по Мордовии сейчас отрицательный миграционный прирост, то есть больше людей отсюда выезжает, чем сюда приезжает. Мы специально это отслеживали. Удмурты тоже совершенно никак не концентрируются.

— *Раньше коренного москвича, например, во многом сдерживали в его порывах уехать, поработать, пожить где-то еще — прописка, квартира и т. д. Страшиновато обрывать все концы и вместе с тем удастся ли обустроиться на новом месте? Как с этим сейчас?*

— У нас нет рынка дешевого жилья. Пожалуйста, можно снять квартиру, но ты должен найти себе высокооплачиваемую работу. Скажем, человек приехал на Ижевский машиностроительный завод, у него зарплата там будет 4-5 тысяч рублей (по местным рамкам нормально), но он не сможет на эти деньги снимать жилье, потому что должен будет отдавать за него больше половины. А 10 тысяч ему не в состоянии заплатить предприятие. Построить дом заводу сейчас не по силам. Раньше при каждом крупном предприятии было общежитие, они их “сбросили” в начале 90-х годов, как практически всю “социалку”. Может быть, кто-то на этом нажился, может, просто по безалаберности избавились. Так или иначе, но общежитий уже

нет. И нет возможности привлекать людей извне, то есть с расстояния более часа-двух езды от завода. Вот это сильно сдерживает сейчас движение рабочей силы в пределах России, из региона в регион.

— *Если человек сам решил переехать, его ведь никто не ждет.*

— Даже если кого-то ждут, то не готовы дать ему квартиру. Ты хороший специалист, мы тебя возьмем. Но квартиру уж как-нибудь найди сам. И зарплату тебе не можем дать такую, чтобы ты купил жилье или хотя бы снял его. А так, ради бога. На многих предприятиях сейчас дефицит рабочей силы. Как только завод поднимается — оглядываются, а этого уже в цехе нет, того нечем заменить. И т. д. Сейчас даже пенсионеров активно привлекают. Человек оставил производство, а его обратно зовут: ну, давай, еще поработай, у нас заказ. А пенсионеры тоже не вечные. Целые отрасли, в том числе здравоохранение, образование, ищут необходимых работников. Может быть, кто-нибудь и поехал бы учительствовать в Москву, допустим, из Костромы, но... В целом это, конечно, большая проблема.

— *Никита Владимирович, почему вы стали заниматься именно этой тематикой?*

— Ну, только не из-за фамилии, которая является в данном случае как бы знакомой: “чужой”! Я окончил географический факультет педагогического института (ленинского, в Москве) и сразу пошел в аспирантуру. Я отношусь к поколению (мне 32 года), для которого главными событиями собственной жизни стали события, происходившие в стране и оставившие самый большой отпечаток, — это крах СССР и развитие рыночных отношений. Думаю, я здесь не оригинален. Развал Союза не задел меня в каком-то личном, бытовом, что ли, плане. Я жил в Москве и даже практически не выезжал за ее пределы. И мама у меня родилась здесь. Отец, правда, родился в Костроме, и то во время эвакуации из Москвы. Родственников — таких близких, которые ездили бы ко мне, — за пределами Рос-

сии не осталось. Может, кто-то и есть, но я о них не знаю. Так что разрыва родственных связей я не ощутил, но просто было очень жалко, что распалась такая великая и, на мой взгляд, хорошая и перспективная страна. И мы допустили это, при безответственности лиц, принимающих решения.

Научная тема, которую я выбрал еще в аспирантуре, вышла на какой-то новый уровень остроты, креативности, как теперь говорят, в плане будущего страны. Заниматься ею интересно и, думаю, важно. Опыт моих старших коллег (А.Г. Вишневого, Ж.А. Зайончковской) это подтверждает. Возможно, и я скажу здесь свое слово.

— *Каким вы представляете наше будущее?*

— То, что сейчас пытается строить Европа, у нас уже было. И мы все равно когда-то придем к тому же. Так или иначе. Основной костяк стран бывшего Союза останется в тесном взаимодействии. Например, у Казахстана южная граница тоже не спокойная. Он тоже будет тяготеть к России. И страны Центральной Азии.

— *Почему все должны непременно к кому-то тяготеть?*

— Потому что действительно в современном, глобальном мире страна не может жить сама по себе. А почему к России? — есть немалые основания, чтобы все постсоветское пространство тяготело именно к нам. Мы более ста лет, а с кем-то двести и триста лет жили вместе. Переплетались исторические судьбы, смешивались семьи (сколько их на этом “пространстве”!). Получил распространение русский язык, и, несмотря на то что он кое-где вытесняется, значительная часть населения бывших советских республик его знает. Трудно представить, что Таджикистан, например, будет тяготеть к США или к Великобритании, или Германии. Им-то он зачем?

Тенденции глобализации, на мой взгляд, весьма долговременны. Скажем так: есть процессы, которые будут длиться столетиями. События 11 сентября, как принято

теперь говорить, раскололи мир, и я воспринимаю их как некий всплеск, какую-то шероховатость на пути к глобализации. Но отнюдь не как “начало чего-то”, третьей мировой войны, допустим, что некоторыми всерьез обсуждается. А еще лет двадцать назад “империей зла” считали СССР, полагая, что война между ним и западным миром неизбежна. Очень хорошо помню, как на экране телевизора появились некие часы (пропагандистская акция), как бы символ того, что миру до катастрофы осталось пять минут, вот уже три... — и какие-то люди сопровождали ход последних минут устрашающими комментариями. Впечатляло. Я очень волновался. А помните, как Рейган шутил: “Я тут отдал приказ”... Все меняется, как видите. То же, думаю, произойдет и с “исламской угрозой”.

Если Россия останется целостной и будет развиваться поступательно, то она способна сформировать какой-то собственный центр, собственный мир. Влиться в западный мир или присоединиться к ЕС Россия не сможет, потому что тогда ЕС перестанет существовать. Равно как не будет существовать НАТО, если мы присоединимся к нему.

— *Нам следует, стало быть, развивать свою самобытность, оригинальность?*

— Нам не нужно развивать некую оригинальность. Нам нужно, скажем так, поднимать свою страну, развивать экономику, может быть, догонять не Португалию, а более амбициозную или более сильную страну, не чураться своих ближних соседей, без которых в принципе очень трудно прожить. Возможно, мы будем расширять свои границы, а не ограничивать их, потому что Россия не станет вдруг очень богатой страной с населением 75–80 миллионов человек, из которых половина — пенсионеры. Я во всяком случае такой вариант не вижу.

— *Тяготение все же к имперскому варианту?*

— Не к имперскому, а скажем — что характерно и для других стран, — к большим кускам мира. Канада, США, Мексика, возможно, образуют единое государство, Европа

— свое государство, а Россия — свое. Китаю никого не надо, он самодостаточен, ему объединяться не нужно и не кем.

— *Согласитесь, у российского населения все же большие опасения относительно наших восточных территорий. И связаны они прежде всего с Китаем. Есть для этого реальные основания?*

— Китай, на мой взгляд, — единственная страна, которая в состоянии тем или иным образом поглотить отдельные наши территории. Это так. И что из того следует, как с этим бороться? А не обязательно бороться методом “хватать и не пущать”. На одной из научных конференций я, например, услышал, что с проникновением в теневой бизнес дальневосточных регионов азербайджанцев оттуда вытесняются китайцы. Я заинтересовался: действительно ли так? Да, вытесняют, в частности, из Улан-Удэ, из Хабаровского края. Китайцы — замкнутая диаспора. Свои структуры, даже своя негласная полиция — и не суйтесь к нам, не трогайте наше дело. А у азербайджанцев все гораздо проще, им легче “дружить” с нашими правоохранительными органами. Я говорю в данном случае не о методах и не о подверженности коррупции. Просто население на том же Дальнем Востоке может стать мультикультурным, мультинациональным. Если там среди мигрантов не будет полного превалирования китайцев, а будет их, допустим, 25 процентов, 10 — вьетнамцев, 4 — филиппинцев, сколько-то приехавших из Центральной Азии, или, может, из Закавказья, — это, мне кажется, гораздо лучше, важнее в целях сохранения наших территорий. Проще держать в поле зрения 20 диаспор, чем одну, которая еще под боком имеет могучую страну. Китай сейчас ставит своей задачей обогнать США по объему экономики. Возможно, в XXI веке это и будет ведущая мировая держава. Ну, как с ней конкурировать? В России даже не высказывается подобных прогнозов. Один китаист сказал по этому поводу: мы привыкли быть большой страной, таким медведем; прибалты по отношению к нам чувствовали себя маленькими, уязвимыми; а сейчас может наступить ситуация, когда мы

станем маленькими по отношению к Китаю и будем зависеть от всех телодвижений этого нашего великого соседа.

Выход тот же, я думаю: быть страной, которая не стагнирует, а развивается. Это единственная возможность сохранить Россию как некое единое целое и еще сформировать вокруг себя блок дружественных нам государств, свой союз.

— *Вам как исследователю, у которого впереди немалый путь, какая тема или проблема, связанная с миграцией, представляется наиболее перспективной и интересной?*

— Очень было бы интересно разработать такую тему: что нужно сделать, чтобы у нас сформировалось мультинациональное общество без формирования зон сегрегации, без, может быть, даже мультикультурализма. Чтобы это было многонациональное общество, но на основе славянской культуры, русского языка. У нас был и сейчас остается, как я уже говорил, очень высокий процент смешанных семей. Любого русского копни (за исключением, пожалуй, жителей сельской глубинки) — там такое намешано! Россия, мне кажется имеет огромный опыт ассимиляции. Ведь Русь XV века коренным образом отличалась от Киевской Руси. Именно за счет того, что она смешалась с Великой степью. Православная вера как была, допустим, в XI веке, так и осталась в XV. Но, может быть, народ и уклад его жизни стали другими, потому что произошло, я уверен, не чистое поглощение, а взаимообогащение народов.

Если в этой связи вернуться к Китаю и мигрантам-китайцам, то я лично не против, чтобы они жили у нас, даже в большом количестве. Но только чтобы они владели русским языком и были бы похожи, допустим, на китайцев, живущих в Канаде (в Ванкувере их много). Я даже потерплю, если на территории Москвы будет китайский квартал.

— *Если вы согласны с тем, что в современном мире все предельно убыстряется, то сколько примерно у нас остается времени, чтобы как-то отрегулировать на-*

званные вами потоки и мы имели бы нечто желанное в области миграции?

— Времени у нас осталось немного. Но не потому, что оно течет так быстро, а потому, что у нас очень скоро демографическая ситуация станет одним из основных тормозов развития экономики. Скоро начнется сокращение трудовых ресурсов. Сейчас трудоспособное население все еще растет, и оно будет расти, по расчетам, до 2006-2007 годов. Пока идет эта волна. А как только оно начнет сокращаться, и достаточно быстрыми темпами, — вот тогда уже будет гораздо сложнее. Мы ограничены во времени и тем, что если сейчас еще можем привлечь те 3-4 миллиона русских и русскокультурных из бывшего СССР, то лет через десять у нас не будет такой возможности. Многие уже уехали, но опять же в той ситуации, когда не было практически никакой поддержки со стороны российского государства. Я, поработав в ФМС, знаю, что это такое: реальная помощь доставалась только тем, кто брал горлом. Сейчас еще можно как-то развернуть или, точнее, “простимулировать” этот миграционный поток, пока русские не укоренились на землях иных теперь государств...

— А нет опасения, что пока развернутся эти потоки, к нам приедут в итоге уже пенсионеры, и мы получим в их лице дополнительную нагрузку, а вовсе не помощь, не дополнительную рабочую силу?

— С точки зрения возрастных пропорций населения — да, миграционный поток из бывших республик будет мало отличаться от российского населения, которое, как известно, стареет. Чтобы сохранить нынешние пропорции между трудоспособными и нетрудоспособными, нужно многократно больше, чем сейчас, привлекать мигрантов. Они тоже, конечно, будут стареть, проблему старения замещающая миграция не решает. Но России, как мы говорили вначале, вообще нужно население. Трудоспособных все-таки будет больше. Приедут с детьми. Какую-то роль сыграет и временная трудовая миграция. А потом если к нам начнут приезжать нерусские, то они будут более моло-

дыми уже в силу своих демографических установок. Так что если хотим молодую иммиграцию, надо привлекать не русских, а представителей “южных” народов.

Ну а если будем возводить крепость под названием “Россия”, как некоторые предлагают, то нам только на одну российско-казахстанскую границу нужно отдельную армию ставить. И никакая профессиональная армия эту проблему не решит. Нам еще надо будет раздувать армию.

— Никита Владимирович, как вы сами могли бы определить смысл, цель вашей исследовательской работы?

— Мне кажется, что глобальная цель моей работы — это все-таки попытка убедить власть и народ в необходимости либерализации миграционной политики анализом и популяризацией каких-то идей. Сейчас должна взять верх не охранительная, не консервативная, не почвенническая, а либеральная идея. Либеральная же идея в миграции — это необходимость для России стать страной иммиграции. Не этнически ограниченной, а мультинациональной. Мы все-таки должны привлекать к себе людей разной национальности. Однако привлечь — полдела, а вот как добиться, чтобы это происходило без ущерба для безопасности страны, без возможных общественных конфликтов и других негативных последствий. Это сложная задача. Но на самом деле ее пока никто и не брался решать. Нужно еще лет десять убеждать людей. И, может, к этому когда-то придут, но не в ближайшее время.

— Вы работаете со старшими коллегами, людьми пожилыми. Не ощущаете, что называется, разрыва поколений?

— Сейчас ведь нет в науке такого, чтобы молодые думали принципиально по-иному, чем ученые средних лет или более пожилые (средних лет, кстати, мало, есть молодежь и люди 60 лет и старше). Я бы не сказал, что между ними какой-то конфликт: отцов и детей, мэтров и учеников. Здесь конфликт между мэтрами: либо исповедуешь эту

идеологию, либо ту. Разные школы... А вообще я не дружу с людьми по принципу возраста.

— *Вы видите отличия предыдущего поколения от вашего?*

— Те, кто относится к предыдущему поколению, сформировались во время застоя и при более спокойной жизни. Они состоялись, нашли работу, занимают властные позиции, а мое поколение (я себя не сильно позиционирую) — это поколение какого-то рубежа. Поступаешь в один институт — заканчиваешь другой, потому что он по-иному уже называется. Хочешь получить одну профессию, а по окончании получаешь другую и совершенно иначе относишься к тому, с чего начинал, потому что за это время происходит переоценка всех ценностей.

Мама мне твердила: “Ты должен пойти в армию, там вступить в партию, потом...” То, что я в институте или после него пойду в армию, даже не оспаривалось — тогда не было отсрочки и т. д. “После института ты должен поработать на кафедре, остаться в аспирантуре, стать кандидатом наук и доцентом”. Вот это предел того, что хотела моя мама. Верх карьеры. В армию я не пошел (мы были первые из студентов, кому дали отсрочку). В партию не вступил (не хотел, да и партия к тому времени развалилась). Со второй частью все получилось так, как и задумывалось, только на кафедре не работал, меня сразу взяли в аспирантуру. Я даже стал и. о. доцента (когда-то преподавал). Все как бы реализовал, но есть некая неудовлетворенность. Моя сегодняшняя программа — просто заниматься делом, которое интересно, быть в нем успешным, публиковаться. Не могут же все быть бизнесменами. Я не представляю, как я был бы бизнесменом.

— *Мама довольна?*

— Мама утратила всяческие стратегические идеалы.

М.И. Алхазуров Будем выбираться из тупика

— *Магомед Исаевич, вы живете в Грозном, занимаетесь молодежной политикой (если можно столь буднично обозначить это в сегодняшней Чечне). И вместе с тем вы учитесь в аспирантуре Российской академии государственной службы, собираетесь защищать диссертацию. Как сочетаются в вас политик и будущий ученый, исследователь? Та и другая ваша деятельность служат одной цели?*

— Безусловно, одной. Я и учиться пошел, чтобы мог принести больше пользы как политик. Собственно, по первой специальности я горный инженер-нефтяник, в 96-м году окончил Грозненский нефтяной институт, и тогда же меня избрали в наш парламент — Народное собрание. Мне было всего 23 года, я, по сути, был самый молодой депутат. Проработали мы, к сожалению, недолго, полтора месяца. Вы знаете, что 6 августа боевики опять вошли в Грозный, потом — Хасавюртские соглашения, вывод российских войск... В общем-то наша власть закончилась, толком и не начавшись. И в последующие три года я лично был в стрессовом состоянии: в России нас преследовали, потому что мы чеченцы, а дома тоже преследовали, потому что мы пытались после первой войны как-то войти в российское правовое пространство. Сепаратисты, естественно, нас считали врагами народа, и в буквальном смысле за нами шла охота. Я как бывший депутат тоже числился у них в списках. Должен был на какое-то время перебраться в Гудермес, потом опять вернулся...

— *Вы и тогда жили в самом Грозном?*

— Да, всю жизнь. Я родился и вырос в Грозном. Еще до избрания в парламент меня включили в состав Комитета национального согласия — был такой предпарламентский орган, представлявший интересы народов, районов, партий, движений. Вот фактически с 95-го года я пытаюсь заниматься политикой. В общем-то никогда не думал, что так сложится судьба. Вернее, судьба Чечни, которая преопределила мою судьбу.

— *А сейчас каково отношение к тем, кто был внесен в подобные списки, в том числе и к вам?*

— Ситуация изменилась. В корне. Нас преследовали, когда была ичкерийская власть, именно ичкерийская. Собственно говоря, я не был для них некой фигурой, “сработал” сам факт моего избрания в депутаты именно во времена действия российских законов. Но в общем-то, по большому счету, я — один из сторонников независимости самой первой волны, пришедшей в республику. Да, и мы, будучи студентами, бегали на митинги, приветствуя ту революцию, если ее можно назвать революцией. Только мы имели в виду нечто иное, чем Басаев, Дудаев и прочие. Мы требовали максимум независимости, самостоятельности, экономической в первую очередь, — в пределах Российской Федерации. Нам была чужда коммунистическая идеология, “застойная”. Но когда вокруг Джохара Дудаева, первого президента, как его называют (отнюдь не все в республике считают выборы 91-го года действительно законными), начали группироваться люди, которые почему-то готовились к войне, — мы не могли разделять их взгляды, методы, их подходы. Мы говорили, что идти таким путем — значит спровоцировать Россию, центральное руководство, естественно, будут жертвы, а мы не хотим независимости любой ценой. Они же считали, что это нормально, все равно война неизбежна. В итоге произошло то, что произошло, чеченский народ стал заложником этих обстоятельств. После первой войны с ее ужасающими последствиями мы, молодые, естественно, хотели активно участвовать в жизни своей республики, внести наш вклад в ее возрождение. Не имея ни опыта политической деятельности,

ни опыта управленческого, мы все-таки самоорганизовались и создали в 95-м году партию, которая так и называлась — партия национального возрождения Чеченской республики. Ядром ее были молодые люди, студенты. Когда мы проводили какие-то акции, нас собиралось до 700 человек, а наиболее активных, которые, скажем так, этим жили, — не больше 50. И, естественно, у нас было желание учиться, развиваться, приобретать знания и опыт. Вот отсюда и у меня такая потребность. Я просто где-то услышал, что существует Академия госслужбы. Мне хотелось получить знания именно в сфере управления. То есть я уже настроился на то, что у себя дома буду все силы прилагать к тому, чтобы не допускать больше таких вещей, когда какие-то безнравственные люди позволяют себе вот так бесцеремонно в общем-то подставлять свой народ, бросать его в огонь войны. Чтобы они никогда не приходили к власти и не могли пользоваться этой властью.

— *Но вас же мало.*

— Нас мало, безусловно. И пока, по сути, используют те же методы, подходы и даже люди, призывавшие к войне. Сегодня такая ситуация. Мы ее проанализировали, какое-то время находились в оппозиции, но потом пришли к выводу, что противостоять сепаратистам, по-прежнему выступающим с оружием в руках, сейчас, видимо, лучше смогут действительно те, кто понимает их логику, их психологию. На данном этапе это, возможно, правильный шаг. Но в дальнейшем...

Я узнал, какие документы нужны для поступления в российскую академию, подготовил их, сдал экзамены, написал реферат — все по правилам. Это был 2000-й год. Учился заочно и получил второе высшее образование, став менеджером государственного и муниципального управления. А потом поступил в аспирантуру на свою же кафедру “Национальные и федеративные отношения”. Пишу диссертацию: “Зарождение и развитие государственности Чеченской республики”.

— *Вы один такой исключительный?*

— Что значит “исключительный”? В Чечне много молодых людей, у которых должно быть будущее. Как раз в 2000 году мы поднимали эту тему очень громко — обращались к президенту, в Южный федеральный округ, к нашему руководству: нужна целевая республиканская программа, где отдельным блоком ставились бы задачи именно учебы, формирования молодых кадров. Мы такую программу разработали. Для начала нужны какой-то объем знаний и, конечно, желание.

— *Тоже получить второе образование? И желающие есть?*

— Конечно. К счастью. Я сейчас как раз помогаю нашим ребятам поступать в Академию госслужбы. Большой конкурс, 50 человек хотят приехать, академия, естественно, всех принять не сможет. Но уже то, что столько претендентов, меня просто радует. Люди сознают (не говоря уже о личных планах), что современные знания нужны будут нашей республике именно в сфере управления, что она сможет существовать как любое нормальное государство, имея свои подготовленные кадры.

— *Появляется уверенность, что война все-таки кончится? При том, что кажется: этому нет конца...*

— Просто вот эта вторая война и все, с ней связанное, изуродовали людей. У нас ведь немало ученых, много людей образованных, есть хорошая интеллигенция. Но они на обочине, не востребованы.

— *Такое ощущение, что они все в Москве.*

— Да, они разъехались, и в Москву, и в другие регионы. Некоторые остались в Чечне, но их не слышно, их “завдвинули”. А они должны участвовать в восстановлении. Сейчас официальная политика в общем-то состоит в том (возможно, я повторяюсь), чтобы активных участников вооруженного противостояния привлечь на сторону феде-

ральных властей. Они и в правительстве, и в силовых структурах. Это их время, к сожалению.

— *Ваша ставка — на силу интеллектуальную? Подоспеет новая, молодая волна, вернутся уехавшие. Вы думаете, они вернутся?*

— Думаю, что да. Главное — создать условия для безопасности людей...

— *Вас интересует и опыт Запада, судя по тому, что вы уже побывали в Германии, во Франции, в частности в Страсбурге? Как это получилось?*

— Мне повезло, в силу той же тяги к учебе. Я — по сути, тоже случайно — узнал о существовании Московской школы политических исследований. Заинтересовался. Это семинары — двухнедельные или недельные. Прошел через такие семинары — один, второй. И был просто поражен уровнем экспертов, которых школа приглашает. Перед нами, представителями регионов, выступали эксперты международного уровня — российские политологи, советники президента страны, действующие политики, специалисты различных областей знания. Эксперты выступают на определенную тему с докладом — и разворачиваются дискуссии, где оппонентами уже выступают слушатели. Очень удачное, на мой взгляд, сочетание: во-первых, я получаю знания, а во-вторых, общаюсь с людьми, которые реально у себя в регионах “делают политику”.

— *Они вам оказались близки?*

— Ну конечно! Мы хотим приобщиться к интеграционным процессам, узнать, как и чем живут в других субъектах Федерации. Нам интересен их опыт — какие законы они принимают, как решают социальные проблемы, выстраивают свои взаимоотношения с федеральным центром. Все это, безусловно, важно. Как и реальные знакомства. Кстати говоря, когда у нас в доме правительства был взрыв (а я как раз оказался там), многие звонили, писали — хо-

тели узнать о моей судьбе. Когда я об этом узнал, было приятно. Есть уверенность, что у меня по стране немало друзей.

Школа и возила нас в Германию, в Страсбург; мы были там по неделе.

— *Вам кажется, опыт Запада можно преломить к нашим российским и, в частности, чеченским реалиям?*

— Конечно. Почему нельзя принимать положительный опыт других стран? Иногда говорят: зачем нам этот Запад, мы должны идти своим путем. Я считаю, что это неправильно. Думаю, такие разговоры ведутся потому, что у нас социально-экономическая ситуация плохая. Реально люди живут униженно-бедно, кого-то надо за это винить — вроде бы так и легче. А вот и виновник — Запад, США... У меня было всего две поездки, две возможности как-то присмотреться, поучаствовать в обсуждениях. Естественно, я читаю литературу, она очень помогает, как и аналитические материалы... Мы же, Россия, часть мира, мы же не можем жить в отрыве от каких-то общих процессов.

— *Так думает и ваше окружение — новое поколение, подросток уже в войну? Ваша партия еще существует?*

— Мы вынуждены были ее перерегистрировать (по новому федеральному закону). Теперь это не партия, а Национальный совет молодежных объединений Кавказа, куда входит 26 молодежных и детских неправительственных организаций Чечни, Осетии и Дагестана. Думаем расширять свои связи. Задача одна — содействовать решению социально-экономических, организационно-правовых проблем молодежи.

— *Но они, эти проблемы, видимо, различны в разных регионах?*

— Конечно, немного отличаются, но по большому счету исходная причина одна: социально-экономическая. А в

Чечне это просто крайне обострено, близко к катастрофе. То есть если молодым чеченцам и вообще гражданам Чечни не предоставить сейчас возможность быть занятыми, зарабатывать, иметь хотя бы временные заработки, я уж не говорю о возможности учиться, — их легко рекрутируют те самые незаконные формирования. Очень легко. Должна быть в этом отношении какая-то государственная политика, мы об этом уже четвертый год буквально кричим. Недавно провели в Грозном гражданский молодежный форум, пригласив представителей молодежных организаций России, правительственных структур, депутатов Государственной думы, членов Совета Федерации. Все приехали. Услышали ли нас? В наших условиях, когда миллионы и миллионы тратятся на войну, как-то изменить положение, чего-то реально добиться можно только через государственные структуры. Общественные организации у нас едва встают на ноги.

Чечня, конечно, особый случай. Вот решили прибегнуть к одной из демократических процедур — провести референдум. Мы в этом тоже участвовали — предварительно проводили дискуссии, круглые столы, встречались с молодежью. Многие озлоблены, оскорблены. Война не может восприниматься как справедливая — столько было всего ужасного с обеих сторон. А народ как буфер — пострадали-то мирные жители. И у них — недоверие, у них — страх, у них — ненависть к федералам. Мы говорили: надо провести референдум, принять свою конституцию, избрать свои органы власти. Нам отвечали: “Да вы под диктовку федералов действуете. Тут идет война — какой референдум? И если мы, допустим, примем конституцию — где гарантия, что выберем в президенты того, кого хотим?” Мы говорим: “А какой выбор? Нас убивают и некому защитить, не с кого спросить. Так, может, лучше сохранить сейчас свои жизни? Мы должны иметь органы власти, которые могли бы взаимодействовать с федералами. Потом уже займемся, если потребуются, доработкой конституции путем того же референдума”. Не верили. Людей можно понять — и нельзя понять. Камнем преткновения мог стать, например, такой вопрос: “Почему делопроизводство не ведется на чечен-

ском языке?” Что, спрашиваю, сейчас это столь актуально? Нам надо войну закончить. Нас убивают, каждый день гибнет по 50–60 человек. Неужели вы не хотите остановить это? К тому же наш язык надо еще культивировать, развивать, чтобы можно было его использовать на официальном уровне. Послушайте ученых, этнографов. Вот когда мы настолько его разработаем, тогда и будем претендовать на такие вещи. Но это будет не раньше, чем через 10–20 лет...

Референдум прошел, я искренне считаю, что это было нужно. Мы тем самым дали действовать на территории Чеченской республики закону. Получили возможность на его основе формировать парламент, полноценные органы власти. Я вас уверяю: с депутатов уже можно требовать решения насущных проблем. Ведь не может быть такого, что существует законодательный, представительный орган — и ничего нельзя сделать. Надо двигаться поступательно, не обольщая себя и других: сегодня идет война, а завтра все будет хорошо.

— *Магомед Исаевич, вот нам регулярно показывают по телевидению кадры (если они правдивы), как боевики складывают оружие перед представителями власти, рассчитывая на амнистию. Они к вам добровольно идут, раскаявшись и приняв вашу позицию?*

— Идут, и есть конкретные примеры: 16 человек в последнее время вытянули. Мы знаем своих потенциальных сторонников. Это молодые люди, у которых погибли родственники. Бомбежки, город фактически сравнивали с землей, там было немало безвинных жертв. И люди пошли за них мстить — чистая психология, тем более у нас на Кавказе чувство кровной мести еще сильно. Они не были идейными сепаратистами, не проповедовали идеи имама-та, шариата, вот эти молодые люди. Мы ходили в их дома, разговаривали с семьями (ну, Чечня же маленькая, знаем, кто там ходит, кто бегаёт), просили содействовать их возвращению, повторяя, что это несправедная война. Будем откровенны, говорили мы: вот эта вторая война спровоцирована ваххабитами, Басаевым. Их лозунг — создать ис-

ламское шариатское государство, отобрав у России весь Северокавказский регион, вплоть до Ростова, а потом “освободить” и весь мир, сделав его исламским — в их понимании; нас, чеченское общество, чеченский народ, загоняют в какое-то дикое средневековье...

Вы знаете, в те три года, когда я вынужден был отсиживаться, скрываясь от сепаратистов, я пробовал вникнуть в их идеи, выступления. Это бред какой-то, неистовый экстремизм! После Хасавюртских соглашений, после мирного договора с Россией (хотя я и мои сторонники были против этого, но раз Россия подписала, ну, ради бога) мы действительно верили Масхадову, что можем построить независимое светское государство, цивилизованное, как представляет это обычный гражданин. Но когда поняли, что общество начало маргинализироваться, начали рекрутироваться бандформирования, стало ясно, что чеченское общество не готово создавать свое независимое государство. Просто не готово.

— *Когда вы, проводя те же круглые столы и дискуссии, говорите такую фразу, вас понимают или сразу считают врагом общества?*

— Не скажу, что меня зачисляют во враги общества, но непонимание определенное есть. И не только среди молодежи. Бывает, и среди ученых, интеллигенции, которые действительно верят в идею независимого государства. Ну а кто против независимости? Это у нас в генах. Чеченский народ всегда стремился быть свободным. Но тут важно различие подходов. Мир изменился. Ведь если мы хотим быть независимым бандитским государством, которое было при Масхадове, — это одно. Я знаю, что многие чеченцы не хотели такого государства. А что значит быть независимым? Посмотрите: у нас ведь соблюдается международная конвенция, подтверждающая возможность самоопределения народа. Россия говорит: давайте сформируйте свои органы власти, у вас своя конституция, вы общаетесь на своем родном языке, учите ему детей, развивайте его. Кто против? Кто нам запрещает молиться, соблюдать исламскую веру? Никто. А у них, сепаратистов,

какая идеология? Фактически идеология смерти. Они призывают к какому-то вечному газавату. Если послушать их лидеров — Басаева, Удугова — с неверными надо воевать, русских — убивать. А за что? Когда идет дискуссия с нашими молодыми чеченцами, я спрашиваю: “А почему мы должны их убивать? Кто дал нам такое право? Вы Коран читали? Почитайте Коран”. В Коране сказано: “людей Писания уважайте”. Это слова Всевышнего. А кто такие “люди Писания”? Христиане и иудеи. Всех людей создал Бог. Почему один имеет право убить другого? Если человек убивает невинного, говорится в Коране, на нем кровь всего человечества. Раз “иноверцы” существуют, раз существуют другие культуры, — откуда взялось, что их надо уничтожать? Я сам изучаю Коран, и когда вникаешь в эти вещи, становится совершенно невыносимой та лживая политика, от которой веет только смертью. И я и мои друзья поняли, что мы не можем сидеть просто так, мы должны активно формировать у себя дома новых политиков, которые исповедовали бы традиционный ислам с его миролюбием, толерантностью, которые выдвигали бы новые, демократические, общечеловеческие идеи. В Чеченской республике они должны восторжествовать — вот главная наша задача. Экономике и тактическим вещам мы будем учиться по ходу того, как начнем постепенно возрождать республику. Меня не оставляет мысль: ведь раз лидеры сепаратистов, подписав с Россией мирный договор, нарушили его, развязав новую войну, они же фактически подставили свой народ. Результат этой войны все мы знаем: погибли тысячи и тысячи, инфраструктура республики уничтожена. И что? Как этих людей уважать, идти за ними, как их вообще понимать?

— Возможно, их просто боятся?

— Безусловно. Единственный фактор — страх. С одной стороны — убийцы, вооруженные до зубов, а с другой стороны — простое мирное население. Ну, конечно, боятся. Естественно, какой-то страх есть и у нас, но мы все равно идем против них, против их идеологии, сознательно, зная, что можем и погибнуть... Но опять же: выбора

нет. Они нас тянут в средневековье, в хаос. Мы же не можем смотреть спокойно, как это все происходит. Хотим и миру всему доказать — почему нет? — что есть нормальные чеченцы.

— Для вас важно, чтобы мир услышал и такую точку зрения?

— Ну, конечно! Когда я был в Страсбурге, я спрашивал людей из ПАСЕ: “Почему вы поддерживаете крайние, ультрарадикальные течения?” Я действительно этого не понимаю. Ведь никто не против мирных переговоров. Есть много чеченцев, которые сейчас говорят: да, мы действительно хотели независимости, но какой разговор о ней в нынешней ситуации? Какая независимость, если столько жертв, экономика разрушена? Сейчас можно говорить о максимальной автономии. В рамках российского государства реально иметь свою государственность. Если человек может спокойно жить, заниматься своим делом, зарабатывать, учиться, ездить в другие страны — это разве не независимость? Разве не это является целью любого государства? Сепаратисты же стремятся утвердить лишь идеи радикального ислама.

— А что это им дает?

— Они в одночасье стали эмирами, повелителями других. То есть получили власть, деньги. Они тешат себя иллюзиями, что являются личностями — плюс еще и тщеславие... А иногда мне кажется, что на каком-то этапе у них просто “крыша поехала” — по-другому не могу объяснить.

— В свое время нам часто “транслировали” Удугова. Он казался совершенно нормальным образованным человеком, довольно логичным. И ведь действительно выиграл тогда у наших военных пропагандистскую кампанию, это признавали многие. Когда слушаешь такого молодого, убежденного, хорошо говорящего человека, невольно думаешь: значит, он верит в то, что говорит, значит, видит перспективу. Так, может, такое впечатление и у других?

— Возможно. Так, безусловно, многие и поверили им и пошли за ними в первую войну. А давайте послушаем теперь Басаева. Кто такой Удугов? Он в общем где-то на десятых позициях. Первые-то роли играли Басаев, Хаттаб. А их слова: “Убивайте русских. Вообще не давайте им покоя. Надо отобрать земли у России”. Если их слушать, мы вечно будем воевать.

— Так и получается — уже 400 лет.

— А разве интерес чеченского народа — воевать, создавать некие исламские государства? О каких перспективах речь, если Басаев намеревается свергнуть того же Масхадова, объявляя его горе-политиком и навязывая ему свои идеи...

— Вы считаете, что началась уже игра амбиций и т. д.?

— Ну, конечно! И эти амбиции должны реализовываться через кровь, через гибель людей. Мне просто обидно за тех чеченцев, которые слепо и глупо шли за такими “лидерами”. А они собирали толпы людей. Тысячные толпы. Меня это просто ужасает.

— Вы же как молодежный политик понимаете, что, если человек способен собрать тысячную аудиторию, чем-то он ее, эту аудиторию, держит?

— Но, извините, Гитлер тоже собирал тысячи людей. Такие же лозунги: мы — избранная нация, пуп земли, мы будем жить богаче всех, мы — авангард...

— А какие основания для этого у ваших “лидеров”?

— Ну, приводили какие-то абсурдные доводы, а люди в общем-то в большинстве малообразованные, они-то верят.

— В этой связи хочется отметить отрадный факт: недавно на центральном телевидении появилась молодая ведущая — чеченка...

— Асет Вацуева. Вот, пожалуйста, совершенно свободный человек.

— *Жаль, что все примеры — из телепередач; реальную, осязаемую картину практически видите лишь вы сами. Тем не менее кто-то мудро поступил, остановив выбор именно на ней; ведь складывается другое уже представление о тех же молодых чеченцах. В одной передаче — стоят забитые женщины, держат перед собой фотографии погибших и не могут сказать ни слова; жалко их до ужаса, потому что понимаешь, что они ничего сделать не в состоянии. Или лезут в кадр какие-то шустрые тетки, кричат, дерутся. И не понятно, кто истинный. А вот эта девушка показывает, что есть в республике и иное, что современное поколение может вот так себя держать и так говорить. Появляется надежда, что та забитость, та заганность, о которой вы говорили, может уйти... Но она, наверное, “московская” чеченка?*

— Да что вы, она только четвертый год в Москве. Кстати говоря, — дочь известного нашего журналиста Абдулы Вацуева. Он был главным редактором газеты “Грозненский рабочий”. Пошла по стопам отца... Есть надежда, безусловно. Не нужно забывать, что еще советские времена катком прошли по чеченскому народу. Сложился как бы целый поток негативных событий, переживаний, и он выплеснулся на определенном историческом этапе. Известные нам люди воспользовались этой скопившейся отрицательной энергией, выдвинули перед народом гору лозунгов, повели за собой и просто обманули. Вот сейчас посмотреть их путь — пришли к власти, а что сделали? Развязали войну. Народ в нищете. А они где? За границей, неплохо живут.

— *Вы готовите себя и к исследовательской деятельности. Наверняка приходилось задумываться, насколько общие, глобальные процессы, идущие в современном мире, влияют на социально-экономическое, политическое, духовное развитие России и Чеченской республики, в частности. Как это может быть взаимосвязано, на ваш взгляд?*

— Вопрос, конечно, сложный. Мы говорим, что мир изменился, убыстрился, сейчас технологии другие. И знаем, что европейские страны — на фоне энергетического кризиса, дефицита природных ресурсов — пошли по пути сближения, интеграции. Игнорировать эти общие тенденции было бы неправильно, я имею в виду в этом смысле и Россию, и Чечню. Сейчас, в XXI веке, Россия не может при всей ее кажущейся самодостаточности сказать (как иногда говорят) — “проживем и без вас”. Она тоже включилась в процессы глобализации, они побуждают ее интегрироваться в мировое пространство. А Чечня не проживет без России. Если и проживет, то как в Средние века или в начале индустриализации. В этом смысле интерес чеченского народа — быть в составе России. Я не думаю, например, что Грузия, которая сейчас с такой радостью приветствует сама себя, останется вне всяких объединений и союзов. Независимость будет относительная. А в нашем случае некая “самостийность” — совсем беда. Когда-то еще у нас сформируются хотя бы элементы гражданского общества, хотя бы немного укрепится уровень экономического, социального развития, появится стабильность. И в этой связи еще раз я хотел бы подчеркнуть: на данном этапе говорить о независимости и воевать с Россией “до конца” — абсурд. Просто чеченцы вымрут, погибнут в такой схватке.

— Но сейчас как-то и не говорится об этом прямо, в лоб. Раньше было основным лозунгом — только отделиться... Но если люди продолжают так думать, то ведь и не потащишь их “к лучшей жизни” насильно?

— Насильно нельзя. Но стоит послушать, что говорят сегодня обычные чеченцы: “Мы хотим просто мирной жизни”... Только это — хотим мирной жизни, кажется, ничего другого уже и нет на уме. Считайте, народ свое желание высказал. И мы, те, кто занимается политикой, имеет какое-то влияние на ее формирование, должны отвечать такому желанию — жить в мире и просто работать. Всё. Остальное сейчас не актуально.

— То есть вы сторонник того, чтобы идти по ступенькам?

— Конечно. Может быть, лет через сто-двести, когда наш народ будет готов, когда вырастет новое поколение интеллигенции, когда у нас сформируется хоть какое-то, близкое к гражданскому, общество, мы сформируем наконец и свою государственность. А пока... Людям есть нечего, нет крыши над головой — ну, как тут говорить о таких вещах. Россия один раз нас “отпустила”. Три года — и что мы сделали?

— Скажите, Магомед Исаевич, — уйдем немного в сторону, — а лагеря беженцев и все, с этим связанное, не приучили людей к некому патернализму, от которого вроде мы и сами страдаем? То есть привозят все готовое, муку-крупы-сахар, так стало привычным жить. Конечно, это нищета, а в общем-то такое положение, кажется, людей устраивает. Понятно, они боятся возвращаться; может быть, им так проще — но это в какой-то мере не действует разлагающе?

— Совершенно верно. Мы сами говорим, что как раз в последние два года уже развивается иждивенчество, действительно. Ну, когда было, чтобы чеченцы у кого-то там на иждивении жили в палатках? Мы исконные строители. Мы всегда могли за пару месяцев поставить хороший добротный дом. В советские времена по всему Союзу их строили. Конечно, в воюющем городе все может случиться. Но жить где-то в поле... Если не хотят возвращаться домой, то куда хотят? Ну, будут сидеть год, два, три. А строить-то надо, латать свои дыры надо, работу искать, учиться, детей в школу устраивать... Судьба наша такая.

Кстати, на гуманитарной помощи многие и бизнес делали: продадут продукты на 10–20 тысяч, приезжают домой, там занимаются еще каким-то бизнесом; то есть числятся в этих лагерях, реально там не живут, постоянно мигрируют, — была там довольно большая категория таких людей. Это объективно. А другие действительно прямо зависели от гуманитарной помощи, от этого не откристишься.

Но возвращаться надо. Жизнь на иждивении неких организаций, когда тебе всё приносят, конечно, разлагает. Человек всегда должен сопротивляться обстоятельствам, должен какие-то усилия прилагать, правильно? Надо возвращаться. Проблема в другом: власти говорят “приезжайте домой”, вроде и создают для этого “пункты временного содержания”, но там часто нет ни воды, ни туалетов, там холодно, окна не всегда застеклены...

— *Опустились руки? Вы же действительно умеете строить, постройте на некоторые дома, просто как кирпич уложен — картинки.*

— Частные дома.

— *Ну, частные дома. А почему не строить-то? Люди есть, деньги выделены.*

— Вся проблема в том, что государство должно отдать людям деньги. Оно отдает 300 тысяч рублей. Во-первых, это небольшие деньги, если в семье, скажем, десять человек. Был раньше дом, хороший дом, и государство говорит: вот тебе 300 тысяч, строй новый. Это, на мой взгляд, неправильный подход, и эти деньги не доходят до человека. Сидят чиновники — и здесь, у нас, и федеральные — и требуют еще какие-то проценты. Вот в чем проблема — проблема властей. Власти должны устранять подобные беззакония.

— *Вот вы сможете...*

— Что значит “сможете”? Надо.

— *Представим, вы выучились, стали уже действующим управленцем, на вас все это обрушивается, при том что утвердилась известная традиция — как вы сможете ее переломить? Понятно, что “надо”. А как?*

— Должны быть выработаны прозрачные механизмы, чтобы деньги действительно доходили до людей, чтобы все было гласно.

— *Десять лет идет война, и десять лет слышишь: “А, Чечня — это черная дыра, туда сколько ни сыпь...”*

— Понятно, что дыра, и понятно, что будут воровать. Когда речь идет о каких-то программах развития, инвестиционных, строительных, там настолько сложна система, что каждый день надо ходить за каждым строителем, за каждым прорабом, чтобы отслеживать деньги. И все не отследим. Но вот те 300 тысяч, которые государство дает несчастным людям, — ну, это-то святое. Неужели нет сил отследить их? При желании, думаю, нашлись бы. Кстати, буквально на днях разогнали комитет, который занимался этими выплатами.

— *Вот вы говорите о выработке новых систем, механизмов. Вы могли бы предложить, скажем, такую “отслеживающую” систему?*

— Если бы занялся этой проблемой, думаю, сумел бы.

— *При такой ситуации не придется забросить науку?*

— В общем-то я считаю, что я политик в первую очередь. А политика переплетается с моей исследовательской темой непосредственно. Хочу понять, как формировалась государственность чеченского народа, что мешает чеченскому этносу сформироваться как гражданское общество. За 400 лет борьбы за независимость не сложилось представление о государственности, которое соответствовало бы менталитету Чечни. Решается ли эта проблема сейчас? Как она может быть решена? Думаю, моя исследовательская работа будет идти параллельно с практической.

Я считаю — и много по этому поводу дискутировал с учеными-чеченцами, — что наш народ не сформировался как нация-государство, хотя, безусловно, у нас есть для этого все предпосылки. Мы всегда почему-то разобщены, и перед лицом какого-либо исторического события у нас нет должного единения. Если бы оно было, на историческом изломе, когда рухнул Советский Союз, мы безболез-

ненно перешли бы на новый этап развития своей государственности, отрегулировав взаимоотношения с Россией. Но этого же не произошло. Чеченское общество оказалось неготовым, все были просто растеряны.

— *А хотелось взять суверенитета “сколько сможете”?*

— Ну, конечно! А кто был против? Ведь Дудаев появился позже того, как наша интеллигенция — писатели, историки — стала поднимать эту тему. Идею не удалось реализовать, я говорю это с сожалением. Есть тенденция к формированию нации как государства. Есть такое стремление у многих чеченцев. Понятно, что интересы личности и общества должны быть взаимосвязаны. Но этого не происходит.

— *Может быть, сказывается влияние тейпов?*

— Безусловно, влияние тейпов и других обстоятельств. Были шансы. В итоге произошел конфликт. Не секрет, что и внутри чеченского общества идет конфликт. Он назревал с 92–93-х годов. Общество расколото на три-четыре части. Единения опять-таки нет.

— *Так, может, и строить его надо, как вы говорите, идя по ступенькам, — сначала привлечь те же тейпы, их старейшин, потом идти дальше...*

— Как раз таки чеченцам надо преодолеть вот эту тейповую систему, когда все происходит в тейпе и все на нем замыкается. Это препятствует становлению нации как единой общности. Но просто отбрасывать эту систему, безусловно, нельзя. Она тоже играет свою роль. Правда, эта роль преувеличивается общественностью, политиками, средствами массовой информации. Я, например, из тейпа энгеной. У нас есть и противники, независимости и ее сторонники. И на той стороне — в рядах сепаратистов — есть энгеноевцы, и есть мы, выступающие против их идеи решить наш вопрос военным путем. Мы не против своих

братьев, и все шло мирно, пока были дискуссии. А потом стали уже друг на друга оружие поднимать, вот в чем беда. Вот вам признак того, что мы не сформировались как нация-государство.

Собственно, такова наша жизнь и таков круг моих исследовательских интересов. Чеченцы делали попытки создать свою государственность еще во времена шейха Мансура. Это XVIII век. Потом были попытки имама Шамиля. Но государственность Чечни начала зарождаться только после решения советских властей возратить чеченский народ (как и ингушей) на родину. После той ужасной депортации. Была создана, вы знаете, Чечено-ингушская автономная республика. Вот с тех времен идет, казалось бы, процесс формирования нашей государственности, но и сейчас нельзя сказать, что она есть. Я хотел бы активно участвовать в этом процессе. Буду пытаться свои книжные изыскания как-то реализовать практически.

— *Вот вы говорите: страна маленькая, мы всех знаем; знаем и настроения людей; во многом они антирусские и во многом затрагивают именно молодых. А в Москве, скажем, поднимаются те же скинхеды, которые, как они говорят, борются “за чистоту” своей нации. И если бы только говорили, но ведь уже и действуют. А государство многонациональное, жить надо вместе. Не нарушается межнациональный баланс? Проблема, конечно, острая, щепетильная, спрашивать о ней не хочется, но как ее обойдешь?*

— Я уже говорил, что у нас немало сторонников того, чтобы “разобраться с этими русскими”. Понятно, из-за чего что произошло. Мы, когда спорим с такими людьми, утверждаем свою точку зрения: нельзя все переносить на народы; ведь мы знаем — и вы свидетели, — сколько русских у нас жили, они тоже пострадали; знаем, как нам помогают русские люди из других регионов. Обидно, что многое в таких настроениях — от безграмотности, от незнания, где тут правда, а где неправда, от невозможности это самому проверить и недоверия к тем же средствам ин-

формации. Плюс и минус, белое и черное — обычно все подается именно так. А в жизни всегда есть и какие-то полутона.

— *Другая же сторона, когда нет реальной информации, пытается составить свое представление о чеченцах: что за люди — либо бандит с бородой, либо миллионер на “мерседесе”; там воюют, погибают, голодают, а тут скупают что подороже. И уже обычный гражданин, отнюдь не экстремист или скинхед, интересуется: “Посмотрите, сколько у них денег, сколько у них недвижимости всякой и прочего. Почему они-то своим не помогают?” И не знаешь, что ответить... Рождается и такая, возможно, несколько утрированная точка зрения.*

— Так вот, понимая это, мы хотим, чтобы подобное мнение изменилось, то есть хотим о себе заявить. Мы делаем первые шаги. Хотим сказать, что есть большой процент людей, которые очень здраво мыслят, — у них такой же образ мышления, как у обычного россиянина. Почему мы хотим жить с Россией, в российской культуре? Да потому, что ощущаем себя именно россиянами, нам близка именно эта культура. Многие чеченцы едут в Россию, а почему не в арабские страны? Там, естественно, есть наши беженцы, но их мало, в основном-то они в России, а некоторые в Европе. Мы считаем себя европейцами — вот в чем суть. А этот конфликт — искусственно навязанный. Возьмите 90-91-е годы — да наш Грозный был самым интернациональным городом в мире! У нас жило около ста народностей. Я помню, было столкновение Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха. В 91-м году, в июне месяце я, студент, ехал домой и думал: “Как хорошо, боже мой, как хорошо, что я живу в Чечне, в Грозном!” У нас не было таких проблем. И как могло случиться, что через месяц, буквально в августе все начнет раскручиваться, а еще через месяц — толпы с оружием. Какие-то непонятные, вооруженные люди, никогда мы их не видели. Формируются президентские гвардии, Дудаев чуть ли не объявляет войну России, говорит, что мы должны готовиться... Буквально на глазах все

это происходило, и мне, например, стало совершенно ясно, что у конфликта были свои режиссеры. Ну, как может население республики, заслуги которой перед страной отмечали, кстати, высокими правительственными наградами, за пять-шесть лет превратиться в бандитский народ? Это же абсурд. Понятно, что все было запланировано какими-то силами.

— *Почему эти силы смогли так резко все поменять?*

— А потому что мы, чеченцы, как нация-государство еще не сформировались. Подтверждается моя теория: если бы мы сформировались как нация-государство, невозможно было бы сыграть с нами такую злую шутку. А вот сыграли.

— *Вам не кажется, что сегодня меняется роль религии в общественной жизни, ее влияние на политику?*

— Ну, во-первых, я мусульманин, придерживаюсь всех канонов, которые предписывает ислам. Но должен сказать, что ислам, который я принимаю и руководствуясь которым действую практически, — это традиционный ислам. Я изучаю Коран, и там черным по белому написано, что ислам, повторю, — религия мира. Вооруженное противостояние на основе ислама — нонсенс. Люди вырывают из целостного контекста высказывания пророка, производят какой-то свой анализ, строят догадки, выдвигают некие измышления и на этой основе делают выводы, извращающие саму суть ислама. Формируют целые философские теории, приобщают к ним молодых, а в итоге возвращают вот эти “бригады”.

— *У вас не создается впечатления, особенно после 11 сентября 2001 года, что ислам все-таки стал знаменем совершенно другого мира? Сегодня говорят о столкновении цивилизаций, что ведет к международному терроризму. Почему вдруг сейчас ислам становится неким знаменем, которым раньше не был? Он захотел играть в обществе, в мире роль более существенную, чем обычная конфессиональная роль?*

— Я убежден в одной вещи: для достижения неких политических целей нужна мощная идея, которая поднимала бы людей. А ислам — мощная социальная база. Те, кто берет на вооружение мусульманские термины, говорят, что хотят очистить веру, защитить ее от унижения. На самом деле, на мой взгляд, просто идет политическая борьба. Возможно, кто-то хочет поменять политический строй в регионе, скажем в арабских странах, где эти силы процветают. А идеологи называют это борьбой Запада с Востоком, борьбой цивилизаций. Конфликт подогревается еще и тем, что Запад, Америка несколько переставляют акценты: когда говорят, что борются с мировым терроризмом, — на первом месте у них все-таки экономика. Даже в основе войны в Ираке — в общем-то нефть.

— *Вы считаете, что это пришло с глобализацией?*

— В том числе. А что касается роли религии в общественной жизни, то она должна быть, на мой взгляд, опосредованной. Я за то, чтобы церковь была отделена от государства, но потенциал религий — востребован именно на государственном уровне. А потенциал большой — и у христианской религии, и у мусульманской, его полнее надо использовать. Конечно, в культурном, духовном, нравственном плане, а не в политическом.

— *Видится ли вам в концепции конфликта цивилизаций проблема конфессионального характера?*

— Конфессиональная тема — материя тонкая. Некоторые политики пытаются, так сказать, “перевести стрелки”, углубляясь как раз в эту тему. И есть опасность, что материя порвется и потом настолько разгорится конфликтами, что и представить сложно. Ислам — не знаю, к счастью или наоборот — такой мобилизационный потенциал имеет. Ученые считают, что конфликты, к сожалению, в будущем станут все интенсивнее нарастать, и именно на почве конфессиональной. Так вот мы сами пилим сук, на котором сидим. Люди, называющие себя по-

литиками и рассматривающие ислам именно в этой плоскости, во многом рискуют.

Я хочу сказать, что вполне реально какую-то проблему настолько закрутить, что она может вылиться в трагедию. Вот нашу проблему ведь ее можно было как-то разрешить, безусловно. Она могла найти мирный, созидательный выход. Было столько возможностей! Но ее специально держали на таком уровне, загоняя в угол. И что? Сколько матерей сейчас плачет — и чеченских, и русских? Наши граждане... Будем теперь выбираться из тупика. Все зависит от воли, усилий и общества в целом и конкретных людей.

— *У вас есть эта воля?*

— Воля есть.

О.И. Маховская

Мы живем в эпоху хаоса мыслей

— В одной из своих публикаций вы, Ольга Ивановна, отметили, что психология выпадает из арсенала отечественных наук, занимающихся социальным анализом. Что привело вас к такому выводу? Какие потери несет при этом социальный анализ, а возможно, и лично вы, психолог-профессионал?

— Меня это задевает и профессионально, и лично. Психология, в моем понимании, — это единственная социальная наука в России, которая и в советские времена отличалась оригинальностью и была очень сильно погружена в практику. Ее проблемами были и реабилитация инвалидов войны, и развитие математических способностей у детей, и помощь слепоглухонемым детям. Это вообще аутичная наука, которая все время смотрит в глубокий колодезь человеческих страхов, чаяний и надежд. И есть ключевые вопросы, требующие серьезного социального анализа и вытекающего из него ответа. А у меня как профессионального психолога пока такого ответа нет. Я опубликовала, скажем, статью в “Огоньке” — “Скучно жить в России”: усталость общества, равнодушие, мещанские настроения, какая-то индифферентность к большим переменам. А вот что за этим стоит?

Я — кросскультурный психолог. По терминологии Алексея Богатурова, инициатора дискуссии, прошедшей в журнале “Pro et Contra”, я отношусь к “поколению излома”, то есть к генерации ученых среднего возраста, которые к началу активного освоения западных подходов уже успели пропитаться “дымом отечества”, а их профессиональное мышление было сформировано в лоне отечественной гуманитарной традиции. Когда мы учились, был

еще жив Алексей Лосев, и все переживали, успеет ли он закончить шестой том своей “Эстетики”. Событием научной жизни стал выход “Категорий средневековой культуры” Арона Гуревича. Психологию мышления нам читали по Мерабу Мамардашвили и Эвальду Ильенкову. Отдельным поводом для психологических анализов служили русская классическая литература (все те же Достоевский и Толстой), русский формализм в литературоведении (мы учились в годы расцвета Тартуской школы), русская религиозная философия (то, что издавалось “УМСА-пресс” и попадало в нашу страну в ксерокопиях). В то время подобная разбросанность интересов не выглядела чем-то необычным в среде молодой, становящейся науки, ищущей себя как в пространстве базовых мыслительных интуиций, так и в эмпирической проблематике.

Потенциально “поколение излома” оказалось в особо продуктивной ситуации: оно уже не могло отказаться от старого, выстроив свои диссертации в академическом ключе, но и не потеряло интерес к предмету исследования, предвкушая возможность теперь уже совсем самостоятельной работы, всегда связанной с интеллектуальными и личностными рисками. Для нас — я с уверенностью могу это утверждать о своих коллегах-сверстниках — было ясно, что предстоит тяжелая работа по выбору, разработке и соотношению категорий и концепций. Собственно, нормальная научная работа, которая с открытием доступа к западным источникам стала только интенсивнее. Но, как потом выяснилось, эта существенная часть построения отечественного научного дискурса оказалась “немодной”, а к тому же и неоплачиваемой.

— *Произошел тот самый “излом”?*

— Были одна реальность, одни установки. Была заявка на определенную карьеру. Я шла в науку совершенно сознательно. Готова была тратить время, ресурсы. Но не была готова к тому, что у меня вообще отберут возможность артикулировать свои идеи. Хоть как-нибудь. А излом произошел именно потому, что вся технология продвижения и нормальной научной работы была, на мой взгляд, разрушена.

Мы все за последние годы пытались приспособиться и реализоваться. Создали некие виртуальные клубы, куда входят люди из разных стран, разных профессий и возрастов. Если я посмотрю свою записную книжку (по уму там должны быть родные и близкие плюс сотоварищи по профессии), у меня там и бизнесмены, и журналисты, философы, актеры, телеведущие — все те, с кем я пыталась взаимодействовать. Решали какие-то конкретные задачи. Я не тусовочный человек. У меня нет времени и уже не тот возраст, чтобы просто “перетирать” новости. Но, думаю, так приспособляюсь не только я, вынужденная искать что-то на личностном уровне и в профессиональной области. Примерно все так. Может быть, это в чем-то похоже на 60-е годы, когда огромную роль играли неформальные контакты. Была безобразная идеология и был андеграунд, интеллектуальная оппозиция, которая практически никак не была представлена в официальных текстах. У меня, честно говоря, мало к этому интереса, потому что фактически то поколение представляли мои родители; становясь и эмансипируясь, я пережила этап незаслуженного, наверное, по отношению к ним предубеждения именно из-за колоссальной демагогии, которая, когда мне, уже взрослому человеку, пришлось решать свои проблемы (а перестройка совпала с окончанием университета), отнюдь не помогала. Романтизация отношений, уверенность в том, что ты живешь в лучшей стране. С этого, как и с зарядки (мои бабушка и дедушка делали зарядку со сталинских времен), начиналось утро, говорилось о чем угодно, и притом очень важные вещи вообще не проговаривались. И это сказалось. Одна из моих тем или парадигм восприятия того, что происходит: дети расплачиваются за ошибки родителей; мы — своих, те, в свою очередь, будут расплачиваться за наши ошибки. Поскольку у меня уже подрос сын, я как-то очень внимательно слежу за тем, куда направляю его бессознательно. Для психолога ведь важны не только отработанные и понятные всем технологии, но и то, что ты делаешь непроизвольно. Психология — наука с некими секретами.

Классик отечественной психологии Павел Блонский, работавший в 30-е годы в Харькове (я, кстати, сама с Украины, окончила Харьковский университет), считал, что

эмоциональная память конституирует целостность психики и влияет на восприятие реальности. Не случайно, мне кажется, русская философия строилась на принципах субъективного идеализма: мы живем в обществе с высоким уровнем социального волюнтаризма, которое не подчиняется устойчивым моральным или культурным нормам. То, как участник события воспринимает ситуацию, оказывается самой существенной характеристикой поведения. Эмоциональная составляющая любой ситуации, личностное, волюнтаристское начало всегда были центральными, определяющими. И это поле деятельности психолога. Принцип интериоризации (перехода внешней деятельности во внутренний план) — ключевой в отечественной психологии. Особый интерес всегда вызывали анализ, описание, конструирование социокультурных контекстов, в которых происходят становление и развитие личности. У меня была иллюзия (как у провинциалки, наверное), что существует наука, которая даст ответы на все вопросы, что занятые в ней — это и есть авангард, сливки общества. Но мы попали в разряд не то что вторичного — третичного интеллектуального производства.

— *Вместе с тем, согласитесь, психолог сейчас все активнее входит в нашу жизнь. Что реально он может сделать для человека и общества? И может ли?*

— Я пыталась определить сама себя как психолог. Объектами моего анализа были такие разнородные области, что иной скажет: “Чем только она ни занимается!” Диссертацию я защищала по международной коммуникации. Существовал огромный международный проект, который вырос из известных телемостов с Филом Донахью и Владимиром Познером. Я была тогда начинающим исследователем (с сыном в коляске ездила проводить опросы) и увидела, как перекошено в свою пользу сознание бывшего советского человека. Какие бы мы ни предлагали модели, они всегда перекашиваются в сторону стереотипов. Если человек склонен воспринимать себя позитивно, то “чужого” — негативно. Это не национальная особенность (то же наблюдалось и у американцев), это фактор, который приходится учитывать.

Потом, много позже, я была приглашена на фондовый рынок как “хороший качественный”; мы смотрели, как функционируют новые организмы — фондовые компании по западному типу. Между этим занималась телекоммуникациями, что тоже было связано с экспансией западных моделей и реакцией на них наших людей. Характерно, что ученый, которому выдавали компьютер и платили деньги за участие в коммуникации, отказывался от общения. Еще как-то можно было наладить электронную переписку, научить человека с большим научным багажом сидеть за компьютером. Но в телеконференциях и международных дискуссиях русские практически до сих пор не принимают участия. Есть формальные правила открытости, обсуждения, которые важны для западных людей. А для наших оказалось важнее, чтобы статус не пострадал. Статусная страна. Если я директор, то необходимо, чтобы все понимали, что вес моего слова много выше, чем вес слова какого-то профессора из Мичигана. Вообще данный вопрос — кто я есть в этом мире в рамках, категориях иерархии — для человека из нашей страны крайне важен (с чем мы сталкивались и в дальнейшем, в других исследованиях). Эта зацикленность на себе и своих амбициях мешает человеку развиваться.

— *В академической среде в том числе?*

— Академическая среда оказалась очень жесткой, очень консервативной. Можно было предполагать, что как раз ее представители, люди с широким кругозором, быстро переключатся, однако в ходе реализации того же проекта по внедрению в международную коммуникацию российских гуманитариев ориентация на иерархию в этой среде обнаружилась, пожалуй, особенно четко. Иные директора вообще отказывались отправлять сообщения, даже когда им приходили приглашения на конференцию, все оплачивалось и т. д., потому что считали это секретарской работой (“печатная машинка”). Причем тут, как и везде, конечно, прослеживалась поколенческая градация: молодые стремились выехать на Запад — любыми путями (учеба, стажировка), продавать им, грубо говоря, было нечего,

как специалисты они пока не состоялись; а вот мы, те, кто уже защитил диссертации и подтвердил свою квалификацию, пытались развивать совместные проекты, участвовать в серьезных конкурсах. Существовал негласный запрет на публикацию моих данных — считалось, что это помешает развитию проекта по включению российских ученых в телекоммуникацию. Уже имелся негативный опыт с телемостами: двум аудиториям дали возможность поговорить, а они забросали друг друга “гнилыми помидорами”; быстро достичь эффекта взаимного приятия не удалось; что будет дальше — никто не знал, психологи и социологи оказались не готовы спрогнозировать, какие этапы нужно пройти, чтобы использовать эту модель более гибко. Огромные деньги. Непонятные результаты. Проект был закрыт. Точно так же с телекоммуникациями: деньги вгροхали очень большие, а эффект оказался очень маленький. Российские ученые не стали общаться на хорошем информационном уровне. Люди были обеспокоены зарабатыванием денег, причем, чем хуже становилась у нас ситуация, тем более, я бы так сказала, меркантильную позицию занимали россияне. Если им об этом мягко говорили, они сразу вставали “в стойку”, напоминая: мы великие российские ученые, мы и без вас... Такого рода были конфликты, которые, по-видимому, имеют культурологическую основу. Феномен закрытого общества.

Но, надо сказать, мы наблюдали разные стратегии, и те, которые не заключали прямой отказ от каких-либо коммуникаций, в общем срабатывали позитивно. Я сама, как уже говорила, принадлежу к тем, кто что-то пытался в этом плане делать. С трудом, перебирая контакты. Мы становились членами международных ассоциаций, получали книги, журналы (естественно, не бесплатно). Иными словами, сеть дала-таки возможность ориентации в науке. У меня все контакты потом были сетевыми, но не были, могу твердо сказать, случайными. Это долгая работа — понять, какая проблематика актуальна, кто ею занимается. Сеть позволила попробовать взаимодействовать, найти общие точки зрения, с кем-то договориться, то есть включиться в процесс, прежде нам не знакомый. “Нас этому не учили”, потому что в рамках той же научной иерархии есть ученый

совет, заседания секции, лаборатории, а они не готовят к международному общению. Нам до сих пор трудно выезжать и выступать (я не говорю о тех, кто сразу уехал и уже там прошел эту школу). У нас другой стандарт. Я просто вижу, бывая на всякого рода международных собраниях: приезжают наши невероятные умницы, но психологически не выдерживают презентацию. Думаю, это действительно вещь поколенная. Одна из моих работ называлась “Влияние прошлого опыта на восприятие коммуникативных событий”. Если тебя постоянно били по рукам, то ты выходишь на кафедру международного конгресса с ужасом: сейчас тебя заклюют, не поймут, не примут. Если не переживешь этот шок, не знаешь, что дальше последует что-то другое, а все время откатываешься назад, никакого прогресса не наблюдается. Негативный опыт обязательно переносится. Я не считаю, что ученый в этом смысле сильно отличается от других людей, всегда хотела думать, что это не закрытое сообщество. Во всяком случае, к себе отношусь как к типичному субъекту и решения принимаю совершенно типичные. Единственное — могу еще что-то про это написать, проанализировать, понаблюдать. Но уже как бы разочаровалась в своей способности открывать какие-то невиданные горизонты, при всем моем желании.

— *Это потому, что вы глубже вошли в общемировую науку и появилась возможность сравнений?*

— Нет, я думаю, просто не надо себя переоценивать. Вот есть интеллект, который образование позволяет нам тренировать — мы можем изучить языки, перечитать массу книг и т. д. А есть уровень личностного развития человека (такая была модель у Колмогорова). Личность и интеллект: чем более развивается интеллект, тем сильнее личность репрессируется. Советская школа воспитания строилась на том, что тренировался интеллект. Я всегда пыталась быть с собой честной, потому неоднократно переживала шок по поводу самой себя. Ну, например: я училась только на “пять”, считала, что надо показывать high class и таким образом держать себя в тонусе — такая была “закладка”, с которой я долго должна была прощаться,

с тех пор, как закончила университет и вышла в жизнь. В Москве я до этого почти не бывала, распределение сочла прекрасным (меня направили на огромный ткацкий или прядильный комбинат, уже не помню). Доверена самостоятельная творческая работа, первый раз в жизни. Я приехала туда — и мне не о чем было говорить с этими людьми. Мне надо было выстраивать отношения, а я постоянно попадала в конфликты (при том, что была пай-девочкой, но это в своей среде). Я хотела понять, почему я, такая умная по всем формальным показателям, не могу нормально налаживать контакты. Ответ находила в том, что, занимаясь интеллектуальным развитием и показывая на всяких олимпиадах лучшие результаты, до какой-то степени получаешь удовлетворение. Но выходишь в реальный мир с огромными амбициями. Мне пришлось пережить в своей жизни много конфликтов, когда мою самооценку не то чтобы снижали, а делали адекватной, пока я не научилась в разных ситуациях вести себя по-разному и не стала более пластичной. Из этого монолита, из этого бетона нужно было делать пластилин. Да, развитие интеллекта позволяет нам и на международном уровне действительно с легкостью осваивать огромные массивы данных и чему-то обучаться, но если ты становишься психологом-практиком, то не хватает твоего личностного развития. Ты застреваешь на своей исключительности, которая ничего тебе не дает в общении с ткачихой или продавщицей, а ты переживаешь по поводу того, что тебя, твою богатую душу не понимают. К такому ответу — для себя самой — надо было прийти. Жизнь начала верифицироваться.

— *Но ведь естественно, что человек выбирает свою, близкую ему группу общения, ученый работает на свою референтную группу. У психолога иначе?*

— Конечно, мы пытаемся выбирать свою группу. Но, боюсь, это невозможно. Профессия должна вооружать. Иногда говорят, что, если человек, идя в психологию, не может решать собственные проблемы — профессиональные, личные, ближайшего окружения, — он будет плохим психологом. Это некоторое заблуждение, потому что в

своем “супе” трудно разбираться. Западные психотерапевты идут друг к другу, чтобы чему-то научиться. Но ты — как минимум — должен кому-то помогать. Установка как у врача: ты идешь в профессию, чтобы помогать. И, конечно, при этом узкий репертуар общения, тесный круг знакомых формировать трудно. Безусловно, приятно и интересно общаться с хорошими журналистами, психологами, социологами. Но это мне чаще всего не помогает решать практические задачи, ведь потом делаешь очень много вещей сугубо практических.

Сразу вспоминается мой первый опыт такой колоссальной и вряд ли профессиональной работы, когда я, кажется, готова была сойти с ума. В условиях нищеты мы хотели “одарить” наших одаренных детей... Меня пригласил “Евроталант” — есть такая организация при Совете Европы, своего рода профессиональная ассоциация специалистов, занимающихся проблемами одаренности. Мы решили организовать конкурс и победителей в качестве награды отправить летом во Францию. Очень хотелось, чтобы дети наши туда поехали. “Евроталант” всячески поддерживал идею конкурса, в нем принимали участие многие ребят, мы выработали критерии, смотрели и на “семейный контекст”, родители тоже связывали с этим какие-то свои надежды. И когда конкурс уже шел к концу, нам выставили цены — две тысячи долларов за поездку ребенка в международный лагерь. По тем временам — бюджет нескольких лет целой семьи. Оказалось, мы взяли на себя огромные обязательства. Я в этом участвовала в качестве кросскультурного психолога: на связи была вся Европа, и предполагалось, что специалист такого уровня нужен. И вот мне пришлось искать те деньги. Естественно, это не назовешь психологической задачей, но все же задача на общение, на организацию. Деваться было некуда. Помню, первый раз шла на такого рода переговоры (просить деньги) к мэру города Ногинска. За спиной у меня стояли родители, которые у нас в стране твердо считают, что школы и всякие организаторы отвечают за их детей. Такую родительскую установку мы не скоро еще переломим. Скажем, в той же Франции или в Америке родители не могут делегировать эту ответственность школе. У нас ее делегируют еще с со-

ветских времен, поэтому прессинг был колоссальный. Я собирала деньги не в свой котел (просто ходила от бизнесмена к бизнесмену), успела за положенную неделю, и дети уехали. Но едва ли не сразу они стали звонить домой и просить, чтобы их забрали обратно. Я только расслабилась, думая, что совершила подвиг, что за такое медали дают, а мне уже звонили родители и спрашивали: куда вы отправили наших детей? Я там никогда не была. Я лишь могла доверять проспектам, статусу организации и т. д. Тогда мы искренне полагали, что там специалисты экстра-класса, что это возблагодарится... Но дети же, извините, не идиоты, чтобы уехать во Францию, а потом звонить и плакать. Вот вам идеи “шестидесятничества”, между прочим, которые изживаются годами: это я сейчас стала циничным прагматиком, но тогда пыталась телом прикрыть амбразуру; поехала туда сама, понимая, что меня разорвут на части. В общем, в международном лагере никто не говорил даже по-английски, а наших детей мы натренировали, они знали элементарный французский и у них был хороший английский, их готовили так, как, наверное, Юрия Гагарина в космос. И наши перемотивированные дети от многого были в шоке (не к месту, думаю, перечислять здесь все это подробно). Получилось, что мы их бросили в ситуацию культурного шока, не пережив его сами. И мне пришлось тогда самой налаживать изостудию (кстати, заявленную в проспекте), менять расписания, сосредоточить всех этих “образователей”, которые оказались студентами, и заставить их работать, чтобы дети месяц не потратили зря. И чтобы мы не срывались с места, что никак не было связано с возвратом денег (французы в этом смысле большие “молодцы”). А главное, я так полагала, все равно в том “супе” надо как-то разбираться (кстати, теперь дети ездят каждый год во Францию и Шотландию по совместно разработанным программам). Наверное, я тогда могла сказать: это не педагогика, это вообще черт знает что, забрать детей и уехать. Но было же понятно, что мир теперь станет открытым и что эту дорогу кто-то должен пройти, описать.

— *И как далеко ушли за десять лет? Утратились иллюзии, отношения стали более трезвыми?*

— Скажем так: более адекватными. Не в том смысле, что появились разочарование, некоторая отчужденность, хотя охлаждение, конечно, есть, потому что ожидания были огромные. Американцы, например, прямо рвались помогать русским. Когда я приехала в Америку в первый раз двенадцать лет назад, меня на руках носили (думала: за что мне такое счастье?). А когда приехала два года назад, никто и внимания не обратил.

— *Потеря интереса к России?*

— Потеря интереса, конечно. Но отношение разное — и у нас, и у них, что очевидно. Сейчас бы эту разницу описать, и не только словами “плохо — хорошо”. Социологи у нас фиксируют массовые антиамериканские настроения, многие люди, никогда никуда не выезжавшие, связывают реформы с американской экспансией. А есть немало и тех, кто детей своих туда отправил, считая, что там больше возможностей для самореализации, что их дети будут иметь более реальные шансы устроить жизнь. Много и таких, как я: когда сыну исполнилось десять, мы с ним тоже выезжали, прошли, можно сказать, через все эти круги, но, оказалось, не были готовы и вооружены на сто процентов, чтобы принять радикальное решение. Мы каждый раз возвращался, поскольку я видела и понимала, что для сына это будет травмой, что там он должен переживать какие-то свои иллюзии (в итоге выбрали нашу Высшую школу экономики, сейчас он на первом курсе, учится на социолога). Моя последняя книжка “Соблазн эмиграции” о женской эмиграции. Это и мой личный опыт. Хотелось показать, какие тут есть вариации, нет ли чего-то единого. Уезжают люди, чаще всего “готовые на все”. У меня такой готовности никогда не было. Будем считать, что чувство собственного достоинства помешало...

— *Вам удастся все же сочетать сугубую прагматику с некими научными обобщениями, творчески перерабатывать полученную информацию? При таком многообразии не сужается, как это ни парадоксально звучит, само понимание психологии как науки?*

— Несомненно, репертуар интервенций психологии в жизнь сейчас очень широк: политическая, детская, клиническая психология... Что ни произойдет в стране — это как-то “занозит”, хочется понять драматургию события. Думаю, такая широта, способность экстраполяции наблюдений и выводов, полученных в разных ситуациях, может быть чрезмерной с точки зрения американца или француза (у француза, скажем, отсутствие четкой специализации сразу вызывает иронию). Но это характерно для российской гуманитарной мысли — такой широкий, мировоззренческий подход. А главная тема, по сути, сейчас одна: поведение человека после резких перемен. Психология как наука, думаю, призвана помочь людям оценить собственные ресурсы в ситуации, когда им приходится решать острые жизненные проблемы.

Другое дело, что наука теряет функцию эксклюзивного, авторитетного анализа. Или уже потеряла. Эту функцию стал выполнять кто угодно — общественники, социальные работники, депутаты, журналисты. Кстати, еще одна из моих иллюзий — экспертиза в Госдуме, где, казалось, можно как-то сорганизоваться, работать “командой”. Но кто эти люди, эксперты, откуда взялись? Все при каких-то невероятных дипломах (не исключаю, что приобретенных). Когда мы там провели первый “круглый стол”, я поняла, что он и последний — во всяком случае в моей истории.

— *Довольно типично суждение насчет “вытеснения ученых (умников) из их исконных рефлексивных ролей”. Возможно, тут вина (или беда?) и самих ученых?*

— Могу только сказать, что наука, безусловно, хочет быть полезной, но она не всегда знает, в частности моя наука, как это сделать. Психология сейчас действительно в особом положении. Когда мы учились, был огромный конкурс и очень мало факультетов и отделений. А в прошлом году только в Москве их было 90. Притом все говорят, что этого мало, надо больше. Скорее всего, такая массовость влияет на психологическую образованность. В итоге человек, считающий себя психологом, может просто что-то рассказывать как специалист общественнознания. Или рож-

дать экзотические ожидания: стоит как-то там “поколдовать”, и жизнь переменится. Стало своего рода формой досуга — сходить к психоаналитику. Я, например, не понимаю, как работает та часть психологов, которые напрямую заимствовали западные модели анализа, тот же психоанализ. Ведь существует довольно устойчивый поверхностный уровень сценариев поведения, характерных только для той или иной культуры. Люди ведут себя и дома, и вне дома типичным “советским” образом, или “постсоветским”. Фрейд такое и не снилось в его снах и сновидениях. Иногда необходимо “разгрести” проблемы человека, развести его в роли, поправить жанр, что называется...

К сожалению, надо признать, что наша область часто становится кормушкой для дилетантов и прибежищем для несчастных женщин, не нашедших достойной социальной защиты для себя и своих детей и ищущих способов психологической компенсации и защиты.

— Вам не кажется, что в последние годы мало заметна тема адаптации населения к тому, что происходит в России? Если в те же 90-е годы о ней много говорилось, писалось, публиковались данные всевозможных исследований, то теперь проблема, во многом психологическая, как бы ушла. Она решена, найдены способы ее решения? Или население стало другим?

— Атмосфера, политика в стране стали другими. Была эпоха революционных преобразований, сейчас — стабилизация. Во всяком случае, такова общая установка. Адаптация в условиях стабилизации. Все: мы уже адаптировались. Сейчас спросите у людей: вы принадлежите к среднему классу? Большинство, я думаю, скажут: да. Это такой психологический феномен. Многие социологи говорят, что никакого среднего класса не существует, что это категория пустая. А для психолога — очень важная категория. Человек, по сути, заявляет о средней самооценке. Нормальный человек считает, что он нормальный, средний, как все. Слово “средний” — указание на норму. Потому у нас те, кто в среднем классе, составляют потенциальную норму.

Меня интересует семья — несомненная ценность, маленький социальный организм, где, по сути, произошла поломка (женская эмиграция, безумная детская бездомность). И это есть этап изменений. Чем семья по православному типу отличается от семьи католической, протестантской? Я изучала это во Франции и в Америке; и поверьте, есть много такого, над чем стоит задуматься, решая проблемы социализации, ведь основная функция семьи — социализация ребенка. Вопрос социализации поколения — тоже в семье, а она у нас часто строится на психологическом противостоянии. Эта модель исторически отшлифовалась, а то новое, что появилось, не дает оснований рассчитывать на надежность и ответственность семьи. Очевиден ее кризис, связанный с распадом устоявшихся связей, но она еще не достигла уровня какой-то другой нормы. Я ее пока не вижу.

Я всегда занималась маргинальными людьми. И маргинал для меня — не только человек, которому плохо, но и человек-прогрессор (если так можно сказать). В рамках социальных изменений отслеживаются судьбы того и другого, что, думаю, симптоматично для общества, поскольку они на кромке, более чувствительны ко всякого рода переменам. Это верхняя и нижняя нормы. Конечно, тот маргинал, который меня интересует, не может не понимать, что ему одному справиться с задачей социализации, что он может быть не принимаем. Такова его психология. Одиночество — переживание людей, которые не чувствуют себя привлеченными к жизни общества, полноценно, как они хотели бы. И в последнее время я все в большей мере переключаюсь на эту тему, на мой взгляд, весьма актуальную.

Если уж говорить о возможностях и особенностях адаптации, то тут иногда возникают вопросы, казалось бы, от темы далекие. Ну, например, по психологии мобильной связи. Массачусетский университет провел исследование, которое показало, что почти 30 процентов американцев ненавидят мобильники, хотя и жить без них не могут. Встает вопрос об упорядочении контактов. Мы только вступаем в эту фазу, но и для нас уже актуально, что любое новшество должно быть связано с самоограничением. В качестве небольшого отступления: когда мы проводили

исследования на фондовом рынке (задача была оптимизировать бизнес-процессы), решили использовать как инструмент любую связь, в том числе и мобильную, потому что на фондовом рынке люди сидят с наушниками и микрофонами. Нам позволили фиксировать разговоры, чтобы понять, над чем бьется мозг трейдера. И мы были поражены: за неделю чего только не наслушались — говорили о пиве, о девочках, о казино... Восемьдесят–девяносто процентов спама, что называется. Конечно, ни одна западная компания (чисто западная) не потерпела бы от своих сотрудников такого распыления средств...

— *Вы вообще с оптимизмом смотрите на то, как входит Россия в новый, глобальный мир? Как ощущает себя в этом мире, где происходят изменения и конфликты цивилизационного масштаба, наш, российский человек? Меняются ли, на ваш профессиональный взгляд, его представления, поведение, психология?*

— Чему меня научили последние 10–12 лет — это мыслить вариациями. Потому встречный вопрос: какой именно человек? Одни — элитная часть нашей молодежи — с легкостью вливаются в эти международные процессы. У них нет никакой, даже психологической проблемы адаптации, но они тоже разные (это к вопросу о шансах на их самореализацию). Выезжают из страны без родителей, избегая того конфликта, который замучил эмигрантов второго поколения и обычно губит или родителей, или детей. Пробуют себя в одиночку, все риски берут на себя. Кто-то, напротив, считает, что нужно оставаться здесь, но за этим нередко видится желание воспользоваться статусом либо материальными ресурсами своих родителей — у нас семейственность как была, так и остается. Среди них много таких фанфаронов, которые, кажется, лоснятся от успеха. Но я не склонна связывать с ними наши надежды. Считаю, что действительно успешный человек независимо от революций, перестроек или стагнаций все равно нарабатывает свой уровень и достигает какого-то прогресса. Жизнь никогда не пойдет по течению, глупо готовить к этому молодых. Пережив этап проб, а может, и авантюр,

человек будет стоять того, чего он стоит сам по себе, на деле. И меня настораживает, что пока нет никаких механизмов продвижения этой молодежи, а они должны быть. Тех, кто хочет жить самостоятельно, делать что-то свое — а я очень хочу им верить, — необходимо поддерживать. Им хватит энтузиазма и амбиций для профессиональной социализации. А хватит ли их до этапа, например, создания семьи — следующего этапа социализации? Важно, как общество отнесется к тому, чтобы семья сложилась. Это некий встречный процесс. Пока можно только радоваться, что в новом поколении у нас есть такая прослойка.

Меня пугают девочки, выросшие на гламурных журналах, в том числе дочки моих знакомых. Я переживаю не за них даже, а за их мам, потому что дочки “трясут” прежде всего свою семью. Они не хотят никуда уезжать, не хотят уходить из дома, я это вижу. Паразитируют в чистом виде, при огромном самомнении. Если расцениваешь себя в качестве эпицентра, это не позволит потом работать в коллективе. Такой человек будет давить. Я могу представить много ситуаций, которые он не примет; будет выстраивать только постаменты себе, тянуть на себя. Правда, когда рынок вакансий насыщен, все-таки укрепляются требования к каким-то рабочим характеристикам, начинают смотреть не просто на “родословную” и английский, но и на способность “пахать”. Это несколько обнадеживает.

— *Как вы расцениваете социальную активность тех, кто следует за вашим поколением, их политические воззрения — если они есть?*

— Для нас, я считаю, было важно, чтобы мы делали нечто социально звучащее, общественно значимое — такой был критерий. Для нынешних молодых важно, чтобы им было интересно, чтобы они лично реализовывались. А вот методы у них будут разные: кто-то сядет на шею родителям, кто-то станет ездить и учиться, кто-то максимально использует все шансы, чтобы закрепиться в другой стране, более благополучной. Конечно, индивидуалистическое поколение, и политически менее ангажированное. Они пойдут в политику, мне кажется, если политика будет ин-

интересна им. Они просто хотят быть счастливыми. Если мы все еще хотим быть полезными, то они — счастливыми, и в этом смысле точно знают, что породят какие-то альтернативы, дабы не быть похожими на нас. Несомненно. Во что это конкретно выльется, пока вряд ли кто может сказать. Я, например, не готова.

— *Сегодня можно услышать такое суждение: наступает время, когда человек начнет менять самого себя; не в сиюминутном, конъюнктурном смысле, а в некоем глубинном, сущностном, чего не происходило на протяжении столетий, а то и тысячелетий; он наконец займет себя собой. Вы лично ощущаете какие-то предпосылки к этому?*

— Знаете, меня все время занимает то, что человек постоянно декларирует свою готовность меняться, а ведет себя по-старому. Все поведенческие стереотипы столь живучи, так плохо сознаются, что ждать каких-то прорывов от одного поколения к другому не приходится. Есть как бы маятник. Если говорить, в частности, о женском поведении, то женщина гиперответственная, еще моего поколения, сменяется безответственной, инфантильной, которой нравится быть содержанкой и т. д., она на чем-то попадает без конца, потому что паразитирование — вещь тупиковая, разрушает личность; но потом, наверное, ее дети, сравнивая эти два варианта, выберут опыт бабушек... Пока видно, что происходит освобождение человека, он действительно может больше внимания уделять себе, но еще не знает, как это делать. Что значит “уделять внимание себе”? Бежать в клуб, идти в турпоходы или отправляться в турпоездки? Полученная свобода пока переплавляется, мне кажется, в какие-то внешние свои атрибуты. Не думаю, что нас ждут скорые перемены. Более того: если мы были обществом низкопроизводительным, то теперь становимся обществом высокопотребительным. А мы видим по американцам, что это не привело к какому-то личностному прогрессу. У меня такое ощущение, что стратегия насыщения никогда не реализуется, человеку всегда будет мало. В том-то и беда: тех, кто хочет что-то делать, никак не поддержи-

вают; рынок очень сильно поддерживает, стимулирует, иницирует потребителя. Все время хочется сказать: нет, это лишнее. Аскетизм предыдущего поколения, наверное, был чрезмерным, но человек действительно должен себя ограничивать. Задача самоограничения входит в задачу личностного развития. Пока же, повторю, личностных прорывов я не вижу; вижу, будто снова начинается этап стагнации, по старому типу: опять эти неформальные, невидимые клубы, люди не хотят ничего менять, потому что привычные связи в каком-то смысле обеспечивают их безопасность, благополучие; они готовы смириться с такого рода жизнью, лишь бы у них ничего не отобрали...

— *Но речь идет о перспективах более дальних, о веках.*

— Ну, о веках... Мы-то крутим глубинные механизмы и понимаем, насколько инерционно они устроены. Настолько, что жизнь положишь, стремясь человеку помочь, а он пойдет, выпьет с другом сто граммов, и ему все становится ясно.

— *У вас как исследователя есть та проблема, та тема, которой вы “болеете”, к которой всякий раз, на новом витке социальных изменений, стремитесь вернуться?*

— Конечно, я ее уже называла: социализация детей. Как, используя психологические либо какие-то материальные, социальные инструменты, дать ребенку больший шанс реализоваться? Эта исследовательская задача совпала с личной задачей. Моя мама работала в интернате для сирот и полусирот, мною практически не занимались, дом был забит другими проблемами. Я ходила в таком же халатике, как и все остальные, и испытывала комплекс вины: вот у меня есть семья, а у них нет, поэтому все отдавалось им. Те же “шестидесятники”-педагоги старались восполнить, компенсировать сиротам то, чего они были лишены. Возможно ли это? Существует психоаналитический, фрейдистский подход, согласно которому ранняя детская травма фактически ставит крест на судьбе ребенка или в значительной мере определяет его судьбу. Я-то считаю,

что есть механизмы компенсации. На разных этапах человеку можно помочь перепрыгнуть ту яму, и этим должна заниматься психология. Все мои проекты, потом детский интернет-клуб были попыткой понять, как устроена семья, попыткой оценить ресурс детского развития. И здесь я следую традиции отечественной психологии (можно вспомнить теорию Выготского о “зоне ближайшего развития”). Истоки понятны: нужно было растить нового советского человека, и сама общая идеология исходила из того, что хорошие перемены, возможно, не далеки.

— *С каждым поколением все лучше и лучше...*

— Ну, во всяком случае такую задачу можно решать. Психоанализ — это пессимистическая теория, которая говорит: если тебе в детстве не повезло (а не повезло практически всем), то можно ставить крест; ты как индивид должен всю жизнь опираться на психоаналитика и т. д. Возможно, в обществах откровенно индивидуалистических человеку и не на кого больше опираться; там установка на собственный успех, на изоляцию, крайнюю эмансипацию, и этот стандарт не все выдерживают. У нас же, я вижу, все-таки много форм компенсаций. Если пытаешься кому-то помогать, то прежде всего оцениваешь ближайшее окружение с точки зрения — кто поддержит? Поэтому тема-то моя была и осталась. Прогресс, безусловно, есть — в занятиях с одаренными детьми, в попытках понять, что приносят нам новые технологии, какие шансы они дают детям. Но этот прогресс я, скорее, назвала бы индивидуальным. Не могу сказать, что мои проблемы зависят от того, что происходит в стране. Каждый раз, решая конкретную задачу, важно понять, в какой нише ты находишься, потому что мы настолько атомизировались...

— *“Атомизировались” — это не есть то новое, что входит в нашу жизнь, а значит, если вы не поможете, то уже никто не поможет? То есть уже нет другого рядом.*

— Может быть, и так. Но все же установка на поддержку еще не изжита. Она изживается, но я как раз верю и в

ренессанс, ведь это такая глубокая, старая традиция. К нам до сих пор люди приходят на прием не про себя поговорить, а про кого-то. Вот я хочу ему помочь, я хочу вам описать проблему. Притом очень низка психологическая культура: описывают одно, а на поверку часто — совсем другое. Энтузиазм и желание помочь есть. Еще есть и такая норма, я считаю, позитивная: помогать — это правильно. Но иногда лучше бы не помогали, не всем нужна помощь каждый день и по всякому случаю. Чаще всего в тебе нуждаются, когда говорят: я хочу тебе помочь.

— *Вы сказали, что разочаровались в своей способности открывать какие-то новые горизонты. Но все же нам не уйти от вопроса, неизбежного при такого рода беседе: как вам представляется ваше будущее в науке и будущее собственно науки, в данном случае психологии?*

— Мне вдруг пришло в голову, что при всей массовости нашей науки от меня никто не потребовал какого-то конкретного результата. И не ждут? Как и от науки в целом? Я думаю, сама ценность социального анализа снижается. Мы уже сегодня прибегаем к помощи приглашенных специалистов, не видя пророков в своем отечестве. Чтобы использовать своих, нужно признать их авторитетность, право на принятие решений. Однако это трудно для страны, в которой ставка делается на административные авторитеты, вертикаль власти, а следовательно, на неоспоримость этой власти. Ученому предлагается риторическая роль по обслуживанию власти, и вариантов профессионального существования у него немного. Можно самому войти в научную бюрократию, что значит снизить уровень работы до номенклатурного функционирования, обеспечения академического заказа, сформированного людьми, далекими от практики. Можно, как принято сейчас говорить, “продаться” западным компаниям, которые уже столкнулись с российской спецификой и испытывают потребность в аналитиках. Есть еще вариант — социализироваться через виртуальные научные сообщества, в том числе международные (о чем я уже упоминала). Но все это суррогатные формы научности, которые ставят исследова-

теля в отношении зависимости, выводят его за пределы логики научного познания, не дают реальной возможности разрабатывать свою тему.

Мой диагноз: наука в России умерла, но те ученые, которые еще функционируют, социализируются через неспецифические коллективы (не секрет, что все самое существенное как в науке, так и в обыденной жизни у нас происходит за фасадом публичной и официальной жизни). По моему опыту я могу оказаться в любом проекте. Могу работать на телевидении или снова на каком-то тяжелом производстве или по большому счету как “качественник” начну собирать и анализировать информацию. Масса вопросов витает в воздухе. На них кто-то должен отвечать. Ученые, исследователи пытаются, но ресурсов в науке ответить научным образом нет.

— Нет должного теоретического уровня?

— Конечно, проблема и в этом. Но чтобы его поработать, нужно проводить систематические исследования. А как по-другому? Меня как раз и пугает, что возрождается дух кухонных разговоров. Теперь можно все не только говорить, но и публиковать, однако неплохо бы эти замечательные, яркие идеи как-то верифицировать. По силам ли это ученому? У меня, скажем, есть своя тема, я знаю, что такая проблема стоит, причем остро, и у меня есть какие-то соображения по этому поводу. Но у меня нет возможности выбирать проект как таковой, стало быть, нет и ресурсов. Говорят, в принципе деньги сейчас найти можно. Я вас уверяю: когда я одержима какой-то идеей, я иду с этой просьбой не в одну структуру, а в 25. Никто никогда не говорит прямо “нет”. В свое время я потратила год, чтобы найти одну такую организацию. На само исследование уже физически не хватает времени и сил. Хорошо понимаю, сколь низок КПД такого поведения. Если нет нормальных механизмов финансирования науки, то пускай со мной встанут еще десятка два человек. Но это, конечно, не способ. Как комиссар, занимаешь агитационную позицию — и на “ура”! Наука же деятельность спокойная, требует скрупулезности, тишины кабинета. И очень подробной ра-

боты с текстом, тоже тяжелой. Можно, наверное, продержаться какой-то отрезок на таком энтузиазме, но выстроить новую науку на энтузиазме, мне кажется, не удастся.

Все это, конечно, сильно компрометирует науку. И ученые стали, скажем так, “всякие”. Думаю, никогда не позволю себе говорить “мы, ученые”, имея в виду общую массу. “Мы” для меня — это люди разных специализаций, так получилось, что междисциплинарных, которые показывают в своих текстах очень высокий стандарт. Все-таки уровень анализа в тексте для меня является критерием научности, и я считаю, что он может быть выдержан в любом стиле, любом жанре. Хороший научный анализ не противоречит ясности. Я принадлежу к науке, которая очень близка к людям. Передо мной задача популяризации и объяснения стоит с утра до вечера. Если я не смогу объяснить, я не смогу помочь. И что бы мы ни писали в психологические или какие-то другие специализированные журналы, одновременно, мне кажется, человек моей профессии должен уметь написать и в прессу. И я пишу, вернее, учусь писать, ведь это очень не просто. Помню свои первые робкие опыты, когда я поняла, что миссия науки — и задавать некую интеллектуальную, более адекватную моду. То, что делают журналисты, но на основе другого опыта, другого анализа.

— Наука все же открывает для вас, представителя “поколения излома”, какие-то перспективные направления теоретической деятельности?

— Хочу на это надеяться. Думаю, самые интересные открытия и дискуссии нас ожидают в области сравнительного науковедения. Работая в разных субкультурах, я пришла к выводу, что людей, которые ищут оригинальные пути, принимают на себя риски и ответственность за возможные просчеты, всегда не более 15 процентов. Полагаю, среди ученых процент такой же, и он вбирает так называемых интегративистов — как раз ученых “поколения излома”, призванных решать задачу сплава, интеграции разнородного концептуального и эмпирического опыта, который им пришлось черпать из самых разных источников. Стра-

тегия интеграции считается наиболее продуктивной, но и наиболее сложной. Она требует времени, колоссального напряжения интеллекта, теоретической чуткости, художественного вкуса и даже литературного таланта, а в личном плане — смелости и азарта, интереса к проблеме и самому себе, с тем чтобы прийти к формированию как оригинального научного подхода, так и научной школы. Прошу прощения за некоторое нахальство, на меньшее я бы не поставила.

Но мы живем в эпоху такого безграничного хаоса мыслей...